



РОБЕРТ

ПЁРСИГ

*ДЗЭН
И ИСКУССТВО УХОДА
ЗА МОТОЦИКЛОМ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Роберт Пёрсиг

**Дзэн и искусство
ухода за мотоциклом**

«Издательство АСТ»

1984

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Пёрсиг Р.

Дзэн и искусство ухода за мотоциклом / Р. Пёрсиг —
«Издательство АСТ», 1984

ISBN 978-5-17-089132-0

«Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» (1974 год) – совершенно уникальная книга, современный философский роман-путешествие. Автор делится с нами своими впечатлениями от поездки на мотоцикле вместе со своим маленьким сыном из Миннеаполиса в Сан-Франциско. Поездка длилась всего 17 дней. Во время этой поездки, которую читатель совершит вместе с героем, он окунется в захватывающий мир различных учений, религий, направлений философской мысли, он будет искать ответы на главные вопросы, попадет в удивительную, ни на что не похожую реальность, созданную Пёрсигом. «Единственный мотоцикл, который стоит чинить, – это вы сами», – утверждает Роберт Пёрсиг.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-089132-0

© Пёрсиг Р., 1984

© Издательство АСТ, 1984

Содержание

Примечание автора	6
Часть I	7
1	7
2	15
3	20
4	26
5	32
6	41
7	47
Часть 2	54
8	54
9	60
10	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Роберт Пёрсиг

ДЗЭН и искусство ухода за мотоциклом

© Robert M. Pirsig, 1974, 1984

© Перевод, послесловие. М. В. Немцов, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Моей семье

И что хорошо, Федр,

И что не хорошо, –

Просить ли, чтобы нам это объясняли?

Примечание автора

Особую благодарность я должен выразить Стюарту Коэну, который предоставил мне свой кабинет, чтобы я мог писать, и миссис Эбигейл Кеньон за критическую помощь с первыми главами.

То, что следует ниже, основано на подлинных событиях. Хотя многое пришлось изменить риторики ради, в сущности, к этой истории следует относиться как к факту. Тем не менее книгу никоим образом не следует включать в гигантский корпус фактической информации, касающейся практики ортодоксального дзэн-буддизма. Что же до мотоциклов, тут все тоже не слишком документально.

Часть I

1

Не отрывая ладони от левой рукоятки, на часах вижу, что уже половина девятого утра. Воздух даже при шестидесяти милях в час – теплый и душный. Если уже в полдевятого жарко и сыро, что же будет днем?

Ветер несет едкие запахи придорожных болот. Мы в той части Центральных равнин, где тысячи топей, где хороша утиная охота. Едем на северо-запад от Миннеаполиса к Дакотам. Эта дорога – старая двухполосная бетонка, по которой почти никто не ездит с тех пор, как несколько лет назад параллельно ей проложили новую четырехполосную трассу. Когда проезжаем очередное болото, воздух неожиданно холодеет. Когда же болото остается позади, теплеет снова.

Хорошо, что опять заехал сюда. Это некие далекие свояси – совершенно ничем не знаменитые, потому к себе и манят. На таких старых дорогах исчезают все напряжения. Трясемся по избитой бетонке среди рогоза, лужаек, опять рогоза и болотной травы. Тут и там мелькает открытая вода, и, если взглядеться, на краю рогозовых зарослей различаешь диких уток. И черепахи... Вон красноплечий трупиял.

Шлепаю Криса по коленке.

– Че? – вопит он.

– Трупиял!

Что-то отвечает, не слышу.

– Че? – ору я, не оборачиваясь.

Хватает меня за затылок шлема и вопит:

– Я их *тучу* видел, па!

– А-а! – ору я в ответ. Потом сам себе киваю. В одиннадцать лет красноплечие трупиялы не особенно впечатляют.

Для этого надо стать постарше. У меня тут примешиваются воспоминания, которых нет у него. Давние холодные утра, когда болотная трава бурела, а метелки рогоза мотались на северо-западном ветру. От жижи, взбаламученной высокими охотничьими сапогами, поднималась едкая вонь: мы готовились к восходу солнца и открытию утиного сезона. Или зимы, когда топи замерзали и мертвели, и можно было часами ходить по льду и снегу среди мертвых камышей и ничего не видеть, кроме серого неба, всякой дохлятины и мороза. Никаких трупиялов тогда не было. Но сейчас, в июле, они вернулись, и все очень даже себе живет, каждый квадратный фут этих топей гудит и щелкает, зудит и трещит, – целое сообщество миллионов живых тварей, у которых вся жизнь проходит в каком-то блаженном континууме.

Если отпуск проводишь на мотоцикле, видишь все совсем иначе. В автомобиле ты всегда в замкнутом купе, а поскольку привык, даже не осознаешь, что окно машины – тот же телевизор. Ты пассивный наблюдатель, и все скучно движется мимо в рамке.

На мотоцикле же такой рамки нет. Ты полностью в контакте со всем вокруг. Ты – в *самом* пейзаже, а не просто созерцаешь его, и собственное присутствие тебя ошеломляет. Бетон, что проносится в пяти дюймах под ногой, реален, по нему ходишь, вот он, мелькает так, что не разглядишь толком, однако можно опустить ногу и шкрябнуть по нему в любой момент. Все это вместе – единое переживание, которое все время непосредственно осознается.

Крис и я едем в Монтану с друзьями. Они – впереди, быть может, направляются еще дальше. Планы расплывчаты намеренно: цель – больше просто путешествовать, чем куда-то приезжать. Все в отпуске. Предпочитаем второстепенные дороги, лучше всего – мощеные про-

селки, только потом – однополосные шоссе. Скоростные трассы хуже всего. Конечно, хочется доехать хорошо и быстро, но главное сейчас – «хорошо», а не «быстро»: с таким смещением ударения меняется весь подход. Извилистые дороги среди холмов длинны только при счислении на секунды, а на мотоцикле гораздо приятнее: вписываешься в плавный поворот сам, а не болтаешься туда-сюда в каком-нибудь ящике. Приятнее всего дороги с небольшим движением; они еще и безопаснее. Лучше, если нет автостоянок и рекламных щитов, если роши, луга, сады и полянки – чуть ли не у самой обочины, там проезжаешь мимо, и тебе машут дети, там люди с крылец вытягивают шеи рассмотреть, кто проехал, там останавливаешься узнать дорогу или еще чего, а ответ грозит затянуться так, что мало не покажется, и люди интересуются, откуда ты и долго ли уже в пути.

Моя жена, я и наши друзья пристрастились к таким дорогам несколько лет назад. Время от времени сворачивали на них для разнообразия или чтобы сократить путь до другого шоссе, и всякий раз пейзаж оказывался просто грандиозным, и с очередного проселка все съезжали успокоенные и радостные. Много раз так бывало, пока не стало окончательно ясно, хотя было очевидно с самого начала: эти дороги – вовсе не то что главные. И весь ритм жизни здесь другой, и те, кто вдоль них живет. Эти люди никуда не едут. Они не слишком заняты и потому любезны. О «здешности» и «сейчасности» вещей они знают все. Про такое напрочь забыли другие – те, кто переехал в города много лет назад, да их потерянные отпрыски. Это просто открыло нам глаза.

Я не понимал, отчего так долго не доходило. Видели, однако не замечали. Или скорее были *натасканы* не замечать. Может, нас обдурили, и все стали считать, будто подлинная жизнь происходит в метрополии, а остальное – просто скучное захолустье. Загадка прямо. Истина стучится в дверь, а ты говоришь: «Пошла прочь, я ищу истину». И она уходит. Непонятно.

Конечно, едва дорубило, ничто уже не могло согнать нас с этих дорог: по выходным, по вечерам, в отпусках. Стали подлинными мотоциклетными асами второстепенных дорог и поняли, что в пути, оказывается, можно кое-чему научиться.

Научились, к примеру, отыскивать годную дорогу на карте. Если линия петляет – хорошо. Холмы, значит. Если это единственная дорога из маленького города в большой – плохо. Лучшие дороги всегда соединяют какие-нибудь захолустья, а добраться побыстрее всегда можно другим путем. Если выезжаешь из большого города, скажем, на северо-восток, никогда не следует долго ехать прямо. Сразу отклоняйся к северу, потом к востоку, опять к северу – и скоро окажешься на второстепенной дороге, по которой ездят только местные жители.

Главное тут – не заблудиться. Поскольку дорогу знают только местные, которым и так известны все приметы, никто не жалуется, что никак не обозначены, к примеру, перекрестки. Это сплошь и рядом. А если обозначены – как правило, малюсенькой стрелкой, что ненавязчиво прячется в кустах. И все. Те, кто ставит стрелки на проселочных дорогах, редко повторяют дважды. Пропустил знак – *твоя* проблема, не их. Мало того, начинаешь понимать, что с грунтовками на картах автодорог зачастую все неточно. И твоя «грунтовая дорога» время от времени просто заводит сначала в две колеи, затем – в одну, а потом – на пастбище и там пропадает; или же приезжаешь на задний двор к какому-нибудь фермеру.

Поэтому перемещаемся в основном согласно мысленным прикидкам и дедуктивным выводам из тех ориентиров, которые удастся распознать. У меня в кармане всегда есть компас – на случай облачных дней, когда не определишь направление по солнцу. На бензобаке в рамке закреплена карта, по которой можно подсчитать мили от последней развилки и узнать, чего искать дальше. С такими орудиями и без напрягов от мысли «куда-то непременно попасть» все получается просто отлично, и Америка почти в полном твоём распоряжении.

На День труда и День памяти¹ проезжаем по таким дорогам мило за милей, не встречая ни одной машины, потом пересекаем федеральную трассу и смотрим на автомобили – они бампер к бамперу выстроились до горизонта. Внутри – угрюмые физиономии. На задних сиденьях плачут дети. Все-таки хочется им что-то объяснить, но они хмурятся и вроде куда-то спешат, поэтому никак...

Я видел эти болота тысячу раз и всегда – по-новому. Неверно называть их «блаженными». С таким же успехом можно звать их жесткими и бесчувственными – они таковы тоже, но их *подлинность* опрокидывает любые скоропалительные концепции. Вот! Огромную стаю красноплечих трупялов вспугнули наши моторы, птицы поднимаются из зарослей рогоза. Я еще раз хлопаю Криса по коленке... и вспоминаю, что он их уже видел.

– Че? – снова вопит он.

– Ничего.

– Чего?

– Проверяю: ты не потерялся? – ору я, и разговор прекращается.

Если не особенно любишь орать, содержательных бесед на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо разговоров все время примечаешь окружающее и медитируешь на него. Виды и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина и местность вокруг – вот размышления на долгом досуге, без спешки, без малейшей мысли, что впустую тратишь время.

Поэтому давай так: раз время есть, поговорим о том, что взбредет на ум. Мы ведь почти всегда так спешим, что случая поговорить просто не выпадает. Сплошь бесконечная суета, изо дня в день, и много лет спустя только диву даешься: куда же ушло все это время, как жаль, что оно ушло. А теперь времени навалом, никуда не денется – вот я бы и хотел подробнее поговорить о важном.

Взбредает же мне на ум нечто вроде шатокуа² – только так я его и могу, пожалуй, назвать: вроде бродячих палаточных шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке – по *этой* Америке, в которой мы сейчас. Такие старомодные популярные беседы – они обучают и развлекают, развивают ум и несут культуру, просвещают уши и мозг слушателей. Более торопливые радио, кино и телевидение вытеснили шатокуа, но мне кажется, что эта перемена – не вполне к лучшему. Возможно, с нею поток национального сознания ускорился и расширился, но, по-моему, он все-таки измельчал. Старые русла уже не могут удержать его, а в поиске новых он несет своим берегам лишь больше хаоса и разрушений. В этом шатокуа мне бы не хотелось прокладывать новые русла сознания – просто глубже раскопать старые, забытые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. «Что нового?» – интересный вопрос, он расширяет сознание, но если гоняться только за ним, он приведет лишь к нескончаемому параду пустяков и модных примочек, к илу завтрашнего дня. А мне бы хотелось интересоваться другим: «Что лучшего?» – этот вопрос не полосует, а вспарывает, и ответы на него смыывают ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда русла мысли прорезались слишком глубоко, и ничего поделаться с ними было нельзя, не происходило ничего нового, а «лучшее» диктовалось догмой. Но сейчас все иначе. Поток нашего общего сознания теперь вроде как стирает свои берега, теряет основное направление, топит низины, разъедняет возвышенности – и все это без особой нужды, лишь бы зряшно дать выход собственному внутреннему импульсу. Похоже, надо углублять русло.

Впереди наши спутники – Джон Сазерленд и его жена Сильвия – съехали на стоянку для пикников. Пора бы размяться. Я подкатываю к ним, Сильвия снимает шлем и встряхивает

¹ Отмечаются в первый понедельник сентября и последний понедельник мая соответственно. – *Здесь и далее примеч. пер.*

² Традиционный летний сбор учителей и ораторов с публичными лекциями, концертами и театральными постановками (по названию озера Шатокуа в штате Нью-Йорк, где такой сбор впервые провели в 1874 г.).

волосами, а Джон ставит свой «BMW» на подножку. Все молчат. Вместе проехали уже столько, что с первого взгляда понимаем, каково остальным. Вот и сейчас – спокойны и просто осматриваемся.

На скамейках в такой час еще никого нет. Вся стоянка наша. Джон шагает по траве к чугунной колонке и качает питьевую воду. Крис убредает меж деревьев к ручейку за травянистым бугорком. А я гляжу по сторонам.

Немного погодя Сильвия садится на деревянную скамью и разминает ноги – поочередно задирает их, пригнув голову. От долгих пауз она унывает, и я ей что-то говорю. Поднимает взгляд на меня, потом опять смотрит в землю.

– Люди в машинах на трассе, – говорит она. – Первый был такой грустный. За ним еще один точно такой же, потом еще один, и еще – все одинаковы.

– Они просто ехали на работу.

Сильвия все отлично понимает, но ее замечание резонно.

– Знаешь, *работа*? – повторяю я. – Понедельник, утро. Полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу и скалится во весь рот?

– Но они же все такие *потерянные*, – говорит она. – Будто умерли. Как похоронная процессия. – Она опускает ноги на землю и больше не разминается.

Понимаю, о чем она, однако это логический тупик. Работаешь, чтобы жить, – этим они и занимаются.

– Я болота разглядывал, – говорю я.

Не сразу она поднимает голову и спрашивает:

– Что видел?

– Целую стаю красноплечих трупялов. Когда мы проезжали, они вдруг разом взлетели.

– А-а.

– Хорошо было снова их увидеть. Они связывают все друг с другом – мысли и прочее. Понимаешь?

Задумывается, а потом улыбается, и за нею – темно-зеленые деревья. Сильвия знает тот особый язык, который не имеет ничего общего с произносимым. Дочка.

– Да, – говорит она. – Красивые.

– Последи за ними.

– Ладно.

Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Подтягивает, потом открывает подседельную сумку и давай в ней копать. Выкладывает что-то на землю.

– Если понадобится веревка, не стесняйся, – говорит он. – Господи, да у меня ее раз в *пять* больше, чем нужно.

– Пока не надо, – отвечаю я.

– Спички? – продолжает он. – Лосьон от загара, расчески, шнурки... *шнурки*? Зачем нам шнурки?

– Давай не *будем*, – говорит Сильвия. Они вперяются друг в друга каменными взглядами, потом оба поворачиваются ко мне.

– Шнурки могут порваться в любой момент, – серьезно говорю я. Они улыбаются – но не друг другу.

Вскоре возвращается Крис, можно ехать дальше. Пока он готовится и взбирается на мотоцикл, друзья выезжают, и Сильвия машет рукой. Снова на шоссе, и я смотрю, как они удаляются.

Много месяцев назад эта парочка вдохновила меня на шатокуа, что сейчас взбрел мне на ум; вероятно – хотя точно я не знаю, – он как-то соотносится с некой подводной дисгармонией между ними.

Надо полагать, дисгармония в любом браке – штука обычная, но в их случае это просто трагедия. Мне так, во всяком случае, кажется.

Здесь не столкновение личностей; между ними нечто иное, и никто в этом не виноват, но и решения ни у кого нет. У меня, видимо, его тоже нет – так, мысли разные.

Мысли начались с незначительной вроде бы разницы в наших с Джоном мнениях по совершенно пустячному поводу: как ухаживать за мотоциклом. Для меня естественно и нормально пользоваться инструментами, читать инструкции, которые прилагаются к каждой машине, налаживать и регулировать ее самому. Джон возражает. По нему выходит, что об этом должен заботиться компетентный механик, и тогда все будет правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны, и это никогда бы нас так не развело, если б мы столько не путешествовали вместе и не сидели бы в придорожных кабаках за пивом, болтая о том, что взбредает на ум. А на ум взбредает обычно то, о чем думал последние полчаса с тех пор, как разговаривали в последний раз. Если на уме дорога, погода, люди, старые добрые времена или то, о чем пишут в газетах, беседа, вполне естественно, строится приятно. Но едва речь зайдет о работе машины – конец всякому строительству. Разговор тормозит. Виснет молчание, общая непрерывность ломается. Сидят, например, два старых друга, католик и протестант, пьют пиво, жизни радуются – и тут ни с того ни с сего в беседе всплывает контроль рождаемости. Все просто каменеют.

Если такое случается – это как нащупать зуб с выпавшей пломбой. Его же невозможно оставить в покое. Его надо щупать, тыкать вокруг, пихать его языком, думать о нем – и не потому, что тебе это нравится, а потому, что он нейдет из головы, хоть тресни. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше Джон раздражается, а от этого, само собой, я щупаю и пихаю еще пуще. Не подразнить его, а потому, что это его раздражение – вроде симптома: есть что-то глубже, под самой поверхностью, оно сразу не очевидно.

Когда толкуешь о контроле рождаемости, беседа ведь каменеет не от того, больше или меньше следует рожать детей. Это лишь поверхность. А вот под ней – конфликт убеждений: вера в эмпирическое планирование общества против веры в авторитет Бога, как учит католическая церковь. Хоть до потери пульса доказывай практичность заранее рассчитанной деторождаемости – это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент попросту не приемлет допущения, что все общественно практичное хорошо само по себе. Благо для него имеет иные источники, которые он ценит так же – если не выше, – как и общественную пользу.

Вот и с Джоном то же самое. Я могу проповедовать практическую ценность и достоинства ухода за мотоциклом до хрипоты – с него все как с гуся вода. После первой же пары фраз взгляд у него совершенно стекленеет, и Джон меняет тему или просто отворачивается. Не хочет об этом слышать.

Сильвия тут совершенно на его стороне. Вообще-то она гораздо выразительней.

– Это просто все... другое, – говорит она, если на нее нападает задумчивость. А если нет, отмахивается: – Как мусор.

Они хотят *не* понимать. Хотят *не слышать*. И чем упорнее я пытаюсь осознать, почему же механика так нравится мне, а им так досаждаёт, тем неуловимее это нечто. И выясняется, что в конечном итоге причина этой поначалу небольшой разницы мнений залегает глубже, намного глубже.

Их неспособность к механике исключается сразу. Оба они вполне сообразительны. Оба научатся отлаживать мотоцикл за полтора часа, если приложат ум и энергию, а сбереженными деньгами, нервами и временем за эти усилия оплатится стократно. Они это *знают*. А может, и нет. Трудно сказать. Я никогда не задаю им такой вопрос. Лучше просто смириться.

Но, помню, как-то раз перед баром в Сэвидже, Миннесота, на просто испепеляющей жаре я чуть было не сорвался. Мы просидели в баре с час, а когда вышли, машины так раскалились,

что и не сядешь. Я уже завелся и готов ехать, а Джон все давит на дросило. Бензином воняет так, будто рядом нефтебаза; я говорю ему об этом, думая, что он и так поймет – перекачал.

– Да, я тоже чувствую, – отвечает он и дросит дальше. Дросит и дросит, дросит и дросит, и я уже не знаю, как еще ему сказать. Наконец, сам бесится, весь потный, сил жать на педаль больше нет – поэтому я предлагаю ему вытащить свечи, просушить их, проветрить цилиндры, а мы пока сходим и возьмем еще по пивку.

О бог ты мой, нет! Он не желает влезть во все это.

– Во что – «в это»?

– Ну, инструменты доставать... Чего ради ему не заводиться? Совсем же новая машина, а я все делаю по инструкции. Смотри – подсос на полную, как учили.

– Подсос на *полную*?

– Так в инструкции написано.

– Так то ж когда *холодно*!

– Но мы же там всего каких-то полчаса просидели, – недоумевает он.

Ну, это меня совсем...

– Сегодня жарко, Джон, – говорю я. – А им надо остывать дольше даже в мороз.

Он чешет голову:

– А почему тогда об этом в инструкции не пишут?

Закрывает воздухан, и мотоцикл заводится со второго пинка.

– Так вот в чем дело, наверное, – радостно говорит он.

Назавтра едем там же – история повторяется. Но я уже настроен ни слова ему не говорить, и когда моя жена просит сходить и ему помочь, я качаю головой. Говорю, что, пока он не почувствует свою нужду, любую помощь будет просто отвергать. Поэтому мы отходим в сторону, садимся в теньке и ждем.

Давя на дросило, Джон был сверхвежлив с Сильвией, а это значило, что он просто в ярости. Сильвия же взидала на все это с гримасой «О боги!». Задай он хоть один вопрос, я бы тут же подскочил к нему и поставил диагноз, но Джон вопросов не задавал. Завелся, наверное, только четверть часа спустя.

Потом мы снова пили пиво у озера Миннетонка, и все за столом болтали, а он молчал, и я видел, что внутри его всего скручивает. Хотя уже столько времени прошло. Видимо, чтоб расслабиться, он наконец сказал:

– Знаешь... когда он не заводится вот так, это просто... я прямо *зверем* каким-то внутри становлюсь. Просто паранойя из-за этого. – После этих слов его, похоже, отпустило, и он добавил: – У них небось был только *этот* мотоцикл, понимаешь? Вот эта *задрота*. И они не знали, что с ним делать: то ли снова отослать на завод, то ли в металлолом сдать... И тут видят – я иду. С восемнадцатью сотнями в кармане. И они поняли, что их проблема решена.

Я этак нараспев повторил ему свой призыв к собственноручной регулировке, и он очень старался мне внимать. Иногда он правда старается. Но потом опять все закаменело, он отошел к бару за выпивкой для всех, и тема закрылась.

Он не упрям, не ограничен, не ленив, не глуп. Даже не объяснишь толком. Поэтому все так и зависло – прекращаешь разгадывать тайну, поскольку нет смысла ходить кругами в поисках ответа, которого все равно нет.

Мне пришло в голову: может, это я – странный? Но мысль отпала сама собой: большинство мототуристов знают, как регулировать свои машины. Владельцы автомобилей обычно не лезят в двигатель, но в каждом городе абсолютно любых размеров есть гараж с дорогими подъемниками, специальными инструментами и диагностическим оборудованием, которых не может себе позволить средний автомобилист. Автодвигатель гораздо сложнее и недоступнее мотодвигателя, потому и вот. А для мотоцикла Джона, «BMW R60», механик отсюда до Солт-Лейк-Сити вряд ли найдется. Если у Джона полетят контакты или свечи, ему хана. Я *знаю*,

нет у него с собой комплекта запасных контактов. Ему неизвестно, что такое контакты. Если мотоцикл подведет его на западе Южной Дакоты или в Монтане – прямо не знаю, что он будет делать. Хоть индейцам мотоцикл продавай. Вот сейчас я знаю, чем он занимается: старательно избегает вообще об этом думать. «BMW» знаменит тем, что в дороге не создает хозяину никаких проблем с механикой, как раз на это Джон и рассчитывает.

Сначала я думал, что так по-особому они относятся только к мотоциклам, но позже обнаружил, что и к другим вещам тоже... Сидел я как-то утром у них на кухне, ждал, когда они соберутся ехать, гляжу – течет кухонный кран; я вспомнил, что из него капало и в прошлый раз – вообще-то сколько я его помню, столько он и тек. Я что-то заметил на этот счет, а Джон ответил, что пытался поставить новую прокладку, но ничего не вышло. Вот и все. Подразумевалось, что вопрос исчерпан. Если пытаешься починить кран и починка не удастся, значит, твоя судьба – жить с капающим краном.

Тут мне стало непонятно: не действует ли им на нервы это кап-кап-кап – неделю за неделей, год за годом? Но никакого раздражения, никакой озабоченности я в них не заметил, а потому пришел к выводу, что капающие краны их просто не волнуют. Есть такие люди.

Почему этот вывод изменился, я уже не помню... но по какому-то наитию однажды меня как озарило, может, из-за перемены в настроении Сильвии как раз в тот миг, когда кран капал особенно громко, а она что-то говорила. У нее очень тихий голос. И вот однажды она старалась перекрыть капли, дети вбежали и перебили ее – и она вышла из себя. Злость на детей не была б, наверное, так сильна, если бы кран не капал. Ее взорвало капанье вкупе с детским шумом. Но меня особенно поразило вот что: она *не* винила кран, она *нарочно* не винила кран. Нет, она вовсе его не игнорировала! Она *подавляла* ярость на него, а этот распроклятый капавший кран едва ее не *убивал*! Но она почему-то не могла этого признать.

Зачем подавлять ярость на капающий кран? – удивился я тогда.

А потом это наложилось на уход за мотоциклом, у меня над головой вспыхнула такая электролампочка, и я подумал: ага-а!

Дело не в уходе за мотоциклом, не в кране. Они вообще не приемлют технику. Потом все потихоньку расставилось по местам – и я понял, в чем дело. Раздражение Сильвии, когда один приятель сказал, что считает компьютерное программирование «творчеством». На всех рисунках, картинах и фотографиях у них нет ничего технического. Конечно, к чему ей злиться на этот кран, подумал я. Всегда подавляешь единичные вспышки ярости на то, что ненавидишь глубоко и постоянно. Конечно, Джон устраняется, как только речь заходит о ремонте мотоцикла, – даже если очевидно, что он же от этого и страдает. Техника. Конечно же, естественно, очевидно. Так просто, когда видишь. Сбежать от техники в деревню, на свежий воздух, на солнышко – вот потому-то они и сели на мотоцикл. И тут я им напоминаю про технику – как раз в тот миг и в той точке, когда и где они думают, будто наконец от нее избавились. Обоих это вымораживает напрочь. Потому и беседа обрывается, стоит об этом заговорить.

И вот еще что. Лишь изредка – да и то наивозможнейшим минимумом вымученных слов – они говорят об «этом» или про «все это», как, например, во фразе: «От этого просто никуда не деться». И если я спрашиваю: «От чего – этого?» – ответ может быть: «От всего этого» или «От всего организованного так» или даже: «От системы». Сильвия однажды сказала, как бы оправдываясь: «Ну, ты-то знаешь, как с этим *справиться*», – от чего я так возгордился, что постеснялся спросить, с чем – «этим», а посему остался в легком недоумении. Сначала мне казалось, что дело не просто в технике – тут что-то совсем таинственное. Но теперь вижу, что это «это» в основном, если не полностью, и есть техника. Но и техника – не совсем оно. «Это» – некая сила, которая вызывает технику к жизни, нечто неопределенное, однако нечеловеческое, механическое, безжизненное, слепое чудовище, сила смерти. Нечто отвратительное – они бегут от него, но никогда не смогут его избежать. Я, пожалуй, слишком утрирую, но суть ровно такова, пусть не столь определенная и не такая явная. Где-то есть те, кто пони-

мает такое и способны им управлять, но то – технари, и они, объясняя, чем именно занимаются, говорят на нечеловеческом языке. Все дело в деталях и взаимоотношениях чего-то неслыханного, что никогда не наполнится смыслом, сколько ни слушай. Их вещи, их чудовище жрет землю, загрязняет воздух и озера, и тут никак не отомстить, никак этого не избежать.

Прийти к такому отношению нетрудно. Проезжаешь городской промышленный район, а там сплошная техника. За высокими заборами с колючей проволокой, за воротами, за табличками **ВХОД ВОСПРЕЩЕН** в прокопченном воздухе – странные уродливые громады металла и кирпича, их предназначение неведомо, их хозяева невидимы. Ты не знаешь, зачем оно, никто тебе не скажет, почему оно здесь, – и ты отчужден, отвергнут, будто тебе здесь совсем не место. Владельцы и умельцы тебя здесь не хотят. Перед техникой ты почему-то и на родине – чужак. Сама ее форма, внешний вид и таинственность говорят: «Пошел вон». Ты понимаешь, что где-то все может объясниться, а то, чем техника занимается, как-то непрямо наверняка служит человечеству, но ты же не это видишь. Ты видишь одни таблички **ВХОД ВОСПРЕЩЕН, ХОДА НЕТ**, видишь не то, что служит людям, а этих людишек видишь, муравьев, что прислуживают странным непостижимым громадам. И думаешь: даже будь я здесь своим, а не чужаком – превратился бы в такого же муравья в услужении у этих громадин. Потому и остается одна враждебность; потому я и думаю, что в конечном счете именно она – основа такой позиции Джона и Сильвии, иначе не объяснимой. Всякие клапаны, валы и гаечные ключи принадлежат *тому* обезчеловеченному миру, а поэтому лучше про него вообще не думать. Они не хотят туда влазить.

Коли так, Джон и Сильвия тут не одни. Они идут на поводу у своих чувств, они вовсе не пытаются кому-то подражать – так вопрос даже не стоит. Многие другие тоже следуют зову души и не пытаются никому подражать, и зов душ огромного большинства людей звучит в унисон. Поэтому, если посмотришь на них коллективно, по-журналистски, получишь иллюзию массового движения, прямо-таки вал народного гнева на технику, целое левое политическое крыло восстает против техники, возникает ниоткуда и требует: «Остановите технику. Пусть она будет где-нибудь не здесь. Тут нам ее не надо». Тоненькая паутинка логики еще как-то их удерживает – подсказывает, что без фабрик не будет ни работы, ни уровня жизни. Но есть человеческие силы и посильнее логики. Всегда были, и если они достаточно окрепнут в своей ненависти к технике, паутинка может порваться.

Для антитехнарей, тех, кто против системы, изобрели клише и стереотипы – например, «битник», «хиппи»; такие ярлыки будут появляться и впредь. Но личностей не превратить в толпу простой чеканкой массового клейма. Джон и Сильвия – вне толпы, как и все остальные, кто идет своей дорогой. Они, похоже, как раз и не желают вливаться в толпу, они против. А поскольку чувствуют, что на те силы, которые пытаются впихнуть их в толпу, очень завязана техника, техника им и не нравится. Пока сопротивление в основном пассивно: побег на природу, когда получается, и тому подобное, – но оно не обязательно останется пассивным.

Я не согласен с ними насчет ухода за мотоциклом – но не потому, что не сочувствую их отношению к технике. Мне просто кажется, что их бегство от техники и ненависть к ней их же самих разоружают. Будде, Верховному Божеству, так же удобно в платах цифрового компьютера или передачах трансмиссии мотоцикла, как и на вершине горы или в цветочных лепестках. Думать иначе – унижать Будду, а это значит – унижать себя. Вот об этом я и хочу поговорить в своем шатокуа.

Уже выехали из болот, но душно по-прежнему: можно не мигая смотреть на желтый круг солнца, будто небо затянуло дымом или смогом. Но теперь вокруг зелень. Домики фермеров чисты, белы и свежи. И нет ни дыма, ни смога.

2

Дорога разворачивается дальше... Останавливаемся передохнуть и пообедать и, немного поболтав, пускаемся в долгий перегон. Начинается дневная усталость, она уравнивает возбуждение первого дня пути, и продвигаемся вперед равномерно – не быстро и не медленно.

Попадаем в струю ветра с юго-запада, и мотоцикл, противодействуя порывам, как бы сам по себе кренится им навстречу. Уже некоторое время в этой дороге чудится что-то необычное: она внушает некую опаску, будто за нами наблюдают или следят. Но впереди – ни машины, а в зеркальце далеко позади видны только Джон и Сильвия.

Дакоты еще не начались, но, судя по просторным полям, уже недалеко. Есть поля, сплошь голубые от цветущего льна: он колышется длинными волнами, словно поверхность океана. Изгибы холмов – круче прежнего, теперь горы высятся над всем остальным, кроме неба, а оно кажется еще шире. Фермы вдали – такие маленькие, что и не полюбуешься толком. Земля начинает раскрываться.

Не существует места или четкой линии, где Центральные равнины заканчиваются, а Великие – начинаются. Врасплох застает вот такая постепенная перемена. Будто выходишь в открытое море из гавани, тебя качает, потом смотришь – накат волн стал больше, оглядываешься – а земли уже не видать. Деревьев здесь меньше, и вдруг я понимаю: они уже не местные, их сюда привезли и высадили вокруг домов для защиты от ветра. Там же, где не сажали, ни подлеска, ни молодняка нет – одна трава, иногда дикие цветы и сорняки, но в основном – трава. Начинаются луга. Вот и прерия.

У меня предчувствие, что никто до конца не представляет, какими будут в этих прериях четыре июльских дня. Когда вспоминаешь, как ездил здесь на машине, в памяти всегда всплывают плоскость и огромная пустота, насколько хватает глаз, крайняя монотонность и скука, – а ты все едешь, час за часом, никуда не приезжая и не зная, сколько еще будет тянуться дорога: без единого поворота, без всяких перемен в пейзаже, что тянется до самого горизонта.

Джон волновался, что Сильвия не будет готова к таким неудобствам, и сначала хотел, чтоб она добралась до Биллингза в Монтане самолетом, но Сильвия и я его отговорили. Я доказывал, что физический дискомфорт важен, лишь когда у тебя не то настроение. Тогда цепляешься за то, от чего неудобно, это и будет причиной. Но если настроение в порядке, физический дискомфорт почти ничего не значит. А что касается настроений и чувств Сильвии, я не замечал, чтоб она жаловалась.

К тому же, добравшись до Скалистых гор самолетом, видишь их только в одном контексте – как красивенький пейзаж. А ехать много дней через прерии трудно, и в конце видишь их совершенно иначе: как цель, как землю обетованную. Если бы Джон, я и Крис приехали с таким вот чувством, а Сильвия – считая их «милыми» и «красивыми» – между нами возникло бы больше дисгармонии, чем из-за жары и монотонности Дакот. К тому же мне нравится с нею болтать, поэтому я думаю и о себе.

Глядя на эти поля, мысленно говорю ей: «Видишь?.. Видишь?..» – и, мне кажется, она видит. Надеюсь, потом как-нибудь заметит и почувствует в этих прериях то, о чем я уже перестал рассказывать другим: то, что здесь есть и заметно, поскольку нет всего прочего. Пожалуй, иногда ее подавляет монотонность и скука городской жизни, так что я думаю: может, в этой бесконечной траве и ветре она увидит то, что иногда приходит, если эти монотонность и скуку принимаешь. Оно есть здесь, но у меня нет для него названий.

Вот на горизонте вижу то, чего, по-моему, не заметили пока остальные. Далеко к юго-западу – видно только с вершины этого холма – у неба появился темный краешек. Идет гроза. Может, это меня и тяготило. Намеренно выпихивалось из головы, но все время осознавалось:

с такой духотой и ветром гроза более чем вероятна. Плохо, что в первый день, но, как я уже сказал, на мотоцикле ты *внутри* действия, а не просто наблюдаешь, и грозы – его неотъемлемая часть.

Если заденет краешком или налетит прерывистыми шквалами, можно попробовать объехать, однако сейчас не тот случай. Длинный темный мазок без всяких перистых облаков впереди – холодный фронт. Холодные фронты свирепы, а когда идут с юго-запада – свирепы вдвойне. Часто несут с собой торнадо. Когда налетают, лучше просто спрятаться и переждать. Они непродолжительны, а в прохладе после грозы ехать приятнее.

Хуже всего – фронты теплые. Дожди могут идти целыми днями. Помню, Крис и я ехали в Канаду несколько лет назад; проехали миль 130 и попали в теплый фронт, о котором нас многое предупреждало, но втуне. Все пережитое было каким-то тупым и грустным.

Ехали на маленьком мотоцикле в шесть с половиной лошадей, перегруженные багажом и не слишком обремененные здравым смыслом. Мотоцикл делал всего около 45 миль в час при умеренном встречном ветре. Машина отнюдь не для туризма. В первый вечер добрались до большого озера в Северных лесах и разбили палатку под проливным дождем, зарядившим на всю ночь. Я забыл окопать палатку, и около двух к нам ворвался поток воды и насквозь промочил оба спальника. Наутро встали мокрые, подавленные и невыспавшиеся, но я решил, что, если просто поедем дальше, через некоторое время дождь сдаться. Дудки. К десяти утра небо потемнело так, что все машины зажгли фары. Тут-то и началось.

На нас были армейские плащи – ночью они служили палаткой. Теперь они распахнулись, как паруса, и тормозили нас до тридцати миль в час. Вода заливала дорогу на два дюйма. Вокруг сверкали молнии. Помню изумленное лицо женщины за стеклом встречной машины: как мы вообще оказались на мотоцикле в такую погоду? Я вряд ли смог бы ей ответить.

Скорость упала до двадцати пяти, потом до двадцати. Затем мотоцикл стал давать осечки, кашлять, стрелять и дребезжать; наконец, еле-еле тащась на пяти-шести милях в час, отыскивали старую полузабытую бензоколонку возле лесосеки и заехали на стоянку.

В то время я, как и Джон, особого значения уходу за мотоциклом не придавал. Помню, держа плащ над головой, чтобы прикрыть бензобак, я потелепал мотоцикл между ног. Бензин вроде плещется. Я посмотрел на свечи и посмотрел на контакты, посмотрел на карбюратор и стал качать дрычло – и качал его, пока не выдохся.

Мы зашли на бензоколонку, оказавшуюся к тому же гибридом пивной и ресторана, и съели по обуглившемуся стейку. Потом я снова вышел и попытался завестись. Крис все время задавал дурацкие вопросы, и я начал злиться, поскольку он не понимал, насколько дело швах. В итоге я осознал, что все без толку, – сдался, и моя злость на сына прошла. Как можно бережнее я объяснил, что все кончилось. В этот отпуск никто никуда на мотоцикле не едет. Крис стал предлагать, например, проверить бензин – что я уже сделал – или поискать механика. Но механиков там никаких не было. Только обрубки сосен, кусты и дождь.

Я сидел с ним в траве на обочине дороги, разгромленный, тарасился на деревья и кустарник. Терпеливо отвечал на все его вопросы, а потом Крис стал все реже их задавать. И когда наконец понял, что наше путешествие действительно завершилось, заплакал. Ему было лет восемь тогда, по-моему.

Добрались до нашего города стопом, взяли напрокат трейлер, прицепили к машине, приехали и забрали мотоцикл, доставили его домой и начали все сызнова – уже на машине. Но было уже не то. Как-то не радостно.

Через две недели после того, как отпуск закончился, придя вечером с работы, я снял карбюратор посмотреть, что же тогда все-таки произошло, – но так ничего и не нашел. Чтобы убрать смазку, прежде чем поставить его на место, я повернул вентиль бензобака – слить горючее. И ничего не вылилось. В баке было пусто. Я глазам своим не поверил. Я до сих пор едва могу в это поверить.

Я сотни раз мысленно пинал себя за эту глупость и, наверное, никогда по-настоящему не оправлюсь. Очевидно, тогда плескалось горячее в запасном баке, который я так и не подключил. Я не проверил тщательно, поскольку допустил, что двигатель не работает из-за дождя. Тогда я еще не понимал, насколько глупы такие скороспелые допущения. Теперь у меня машина в двадцать восемь лошадей, и к уходу за ней я отношусь очень серьезно.

Внезапно Джон обгоняет меня, ладонь вниз, что означает остановку. Сбавляем скорость и ищем, где съехать на обочину. Край бетонки сильно выступает, гравий совсем не утрамбован, и мне такой маневр совершенно не нравится.

Крис спрашивает:

– Зачем мы остановились?

– Кажется, пропустили поворот, – говорит Джон.

Я оборачиваюсь и ничего не вижу:

– Я не заметил знака.

Джон качает головой:

– Здоровый, как амбарные ворота.

– Да?

Они с Сильвией кивают.

Джон наклоняется, всматривается в мою карту и показывает, где был поворот, потом – на путепровод за ним.

– Мы уже проехали эту трассу, – говорит он.

Я вижу, что он прав. М-да, неловко.

– Вперед или назад? – спрашиваю я.

Он прикидывает.

– Думаю, нет резона возвращаться. Хорошо, поехали вперед. Так или иначе, доедем.

И вот теперь, пристраиваясь им в хвост, думаю: с чего бы это? Я едва заметил поперечную трассу. А только что забыл сказать им про грозу. Как-то выбивает из колеи.

Край грозового облака вырос, но движется оно не так быстро, как я рассчитывал. Плохо, плохо. Когда тучи надвигаются быстро, они быстро и проходят. А когда подкрадываются медленно – как сейчас, – можно прилично застрять.

Зубами стаскиваю перчатку, наклоняюсь и щупаю алюминиевый бок двигателя. Температура в норме. Руку долго не поддержишь – горячо, но не обожжешься. Ничего страшного.

Двигатели с воздушным охлаждением, как этот, от перегрева может «заесть». Эту машину заедало раз... нет, три. Время от времени я ее проверяю – как больного после сердечного приступа, пусть он уже вроде и поправился.

При заедании поршни расширяются от перегрева, становятся слишком велики для стенок цилиндров, застревают в них, иногда к ним привариваются, двигатель глохнет, заднее колесо замыкает, и мотоцикл бросает юзом. Когда так случилось в первый раз, головой я вылетел дальше переднего колеса, а мой пассажир оказался почти верхом на мне. При тридцати двигатель опять расклинило, и он заработал нормально, но я съехал с дороги посмотреть, что произошло. Пассажир мой только и мог вымолвить: «А это ты *зачем* так?»

Я пожал плечами, поскольку тоже не врубался. Стоял и пялился на мотоцикл, а мимо мчались машины. Двигатель так раскалился, что воздух дрожал вокруг, на нас пыхало жаром. Я коснулся кожуха мокрым пальцем – зашипело, как горячий утюг. Медленно поехали домой, а звук двигателя изменился: хлопки означали, что поршни не соответствуют цилиндрам, тут нужен капитальный ремонт.

Отвез мотоцикл в мастерскую, решив, что поломка не так серьезна, чтобы я влазил самостоятельно, придется ведь изучать все эти сложные детали, может, даже заказывать специальные инструменты и запчасти, на все это уйдет куча времени. Пусть уж лучше мотоциклом займется кто-нибудь другой, сделает все побыстрее – типа того, как к этому относится Джон.

Мастерская отличалась от тех, что я помнил. Если раньше все механики выглядели древними ветеранами, теперь они походили на обычных пацанов. У них вовсю орало радио, а они болтали, валяли дурака и меня, похоже, совсем не замечали. Вот один наконец подошел и, едва послушав хлопки поршней, сразу сказал:

– Ага. Толкатели.

Толкатели? Кабы знать тогда, во что это выльется.

Через две недели я заплатил им по счету 140 долларов и начал осторожненько ездить, переключая малые скорости, чтобы все в нем приработалось, а проехав с тысячу миль, врубил полный газ. На семидесяти пяти мотоцикл заело снова, а на тридцати отпустило, как и раньше. Когда я привез его обратно, в мастерской обвинили меня – мол, я неправильно ввожу его в режим, но после долгих споров все-таки согласились заглянуть внутрь. Снова провели капремонт и сами вывели на скоростные испытания.

На этот раз он заглох у *них*.

После третьего капремонта два месяца спустя они заменили цилиндры, поставили огромные жиклеры главного карбюратора, отрегулировали зажигание так, чтобы двигатель работал как можно спокойнее, и сказали мне:

– Только чересчур не гоняйте.

Мотоцикл был весь в смазке и не заводился. Я обнаружил, что свечи отсоединены, ввернул их и завел; вот теперь и *впрямь* стучали толкатели. Их не отрегулировали. Я сообщил об этом, пришел пацан с неправильно установленным разводным ключом и быстренько срезал обе алюминиевые головки, тем самым окончательно их загубив.

– Надеюсь, на складе еще есть, – сказал он.

Я кивнул.

Он принес молоток с зубилом и начал их расклепывать. Зубило пробило алюминий, и я увидел, как пацан вгоняет его прямоком в головку двигателя. Следующим ударом он промахнулся полностью и вместо зубила попал молотком по радиатору, отколов часть двух охлаждающих ребер.

– Ты погоди, – вежливо сказал я, как в кошмарном сне. – Ты мне только новые головки дай, и я его заберу, как есть.

Я дал оттуда деру: стучащие клапаны, пробитые головки, машина в смазке, лишь бы подальше – и на скорости выше двадцати машину затрясло. На обочине я обнаружил, что из четырех болтов, крепящих двигатель, недостает двух, а у третьего нет гайки. Весь мотор болтался на одном винтике. Болта верхнего кулачка натяжного устройства цепи тоже не было, а значит, регулировать клапаны все равно без толку. Ужас.

И чтобы Джон отдавал свой «BMW» в руки таким людям... Я никогда ему об этом не рассказывал. А надо бы.

Причину я нашел через пару недель – заело снова, на что и был расчет. Срезало маленький 25-центовый штифт во внутреннем маслопроводе, и он не пропускал масло в головку при больших скоростях.

На ум снова и снова приходит вопрос *почему*; из-за него мне и хочется выступить с этим шатокуа. Почему мне так искромсали мотоцикл? Они не бежали от техники, как Джон и Сильвия. Они сами технари. Перед ними стояла задача: сделать работу, – а делали они ее, как шимпанзе. Ничего личного. Никаких видимых причин. И я мысленно вернулся в ту мастерскую, в тот кошмар, и вспомнил, из-за чего все так вышло.

Радио – вот из-за чего. Нельзя одновременно думать о том, что делаешь, – и слушать радио. Может, они считали, что их работа не имеет отношения к мыслительной деятельности, чего там – ворочай себе гаечным ключом, а ворочать ключом под музыку всяко приятнее.

Еще одна причина – спешка. Они ляпали все лишь бы побыстрее, даже не глядя, лопухнулись или нет. Так выходит больше денег – если не тормозишь подумать, что обычно-то времени нужно больше или же получается хуже.

Но самое главное, видимо, какие у них были лица. Трудно объяснить. Добродушные, дружелюбные, свойские – и непричастные. Они были как зрители. Такое чувство, будто сами туда только что забрели, а им сунули в руки по гаечному ключу. Нет причастности к работе. Нет такого, мол: «Я – механик». Ровно в 17:00 или когда у них там заканчиваются их восемь часов, они отключаются – и больше ни единой мысли о работе. Они и *на работе* стараются о ней не думать. По-своему они достигли того же, что и Джон с Сильвией, – живут бок о бок с техникой, но не имеют с ней ничего общего. Вернее, что-то общее с ней у них таки есть, но их собственные «я» – где-то вне ее, отстраненны, удалены. Они работают, но им все равно.

Эти механики не только не нашли срезанный штифт; напротив, совершенно ясно, что именно механик и срезал его в свое время, неправильно надевая боковую крышку. Я вспомнил: бывший хозяин мотоцикла говорил, что его механик жаловался – крышка плохо садится. Вот и причина. Заводская инструкция предупреждала об этом, но, как и все прочие, пацан, видать, слишком торопился – или же ему было наплевать.

За работой я думал как раз об этом наплевательстве в инструкциях к цифровым компьютерам – я редактирую такие тексты. Одиннадцать месяцев в году зарабатываю на жизнь тем, что пишу и правлю технические инструкции, – и знаю, что в них полно ошибок, двусмысленностей, упущений и таких искажений информации, что приходится перечитывать по шесть раз, чтобы хоть что-то понять. Но теперь меня впервые поразило вот что: насколько эти инструкции согласуются с тем зрительским отношением, что я видел в мастерской. Эти инструкции – для зрителей. Они подобраны под такой формат. В каждой строчке сквозит идея: «вот машина, изолированная во времени и пространстве от всего остального во вселенной; она не имеет отношения к тебе, ты не имеешь отношения к ней, знай верти определенные ручки, поддерживай уровень питания, проверяй условия возникновения ошибки...» – и так далее. Вот в чем дело. Механики по своему отношению к машине ничем не отличались от отношения инструкции к машине или от меня, привезшего машину к ним. Мы все были зрителями. И тут меня осенило, что *не существует* инструкции по *истинному* уходу за мотоциклом, по самому важному аспекту. Нравнодушие к тому, что делаешь, либо считается несущественным, либо принимается как должное.

В нынешнем путешествии давай-ка такое подмечать, как-то любопытствовать, вдруг отыщутся в этом странном разграничении – то, что человек есть, против того, что он делает, – хоть какие-то намеки. Что же, к чертям, пошло не так в нашем двадцатом столетии? Я не хочу торопить события. Спешка сама по себе – отрава XX века. Если хочешь развязаться с чем-то побыстрее, значит, тебе нет больше до этого дела, и ты желаешь заняться чем-то другим. Я бы лучше приступил медленно, однако осторожно и тщательно – с таким же отношением, что возникло у меня перед тем, как я нашел срезанный штифт. Его нашло мое отношение, и ничто иное.

Вдруг замечаю, что земля сплюснулась в евклидову плоскость. Ни холмика, ни бугорка. Значит, въехали в долину Ред-Ривер. Скоро будем в Дакотах.

3

Когда выезжаем из долины Ред-Ривер, грозовые тучи повсюду, чуть ли не окутывают.

В Брекенридже обсудили ситуацию с Джоном и решили ехать дальше, пока не остановимся.

Уже недолго. Солнце скрылось, ветер дует холодом, и вокруг – стена различных оттенков серого.

Она громадна, она подавляет. Прерия здесь огромна, но огромность серой массы, готовой опуститься сверху, пугает. Ты полностью в ее власти. Когда и где она обрушится, не тебе определять. Можно лишь наблюдать, как она придвигается все ближе.

Немного раньше – там, где самая темная часть серого сомкнулась с землей, – виднелся городок: какие-то домики, водокачка; теперь все исчезло. Скоро накроет. Больше не вижу никаких населенных пунктов, просто придется мчаться во всю прыть.

Подтягиваюсь к Джону и выбрасываю вперед руку: полный вперед! Он кивает и поддает газу. Даю ему небольшую фору и приноравливаю к его скорости. Двигатель реагирует прекрасно – семьдесят... восемьдесят... восемьдесят пять... вот теперь ветер настоящий, и я опускаю голову, чтоб уменьшить сопротивление... девяносто. Стрелка спидометра качается туда-сюда, но на тахометре – постоянные девять тысяч... под девяносто пять миль в час... и держим эту скорость... мчимся. Уже не до обочин... Щелкаю выключателем фары, безопасности ради. Все равно полезно. Слишком темно.

Несемся по открытой плоской равнине: ни единой машины, деревья лишь кое-где, но дорога гладкая, чистая, и двигатель работает «плотно», высокое число об/мин ясно говорит, что с ним все в порядке. Все темнее и темнее.

Вспышка и *бу-бум-м-м!* грома, одно сразу за другим. Вздрагиваю, а голова Криса прижата к моей спине. Несколько предупредительных капель дождя... при такой скорости они как иголки. Вторая вспышка-*БАМ-М*, и все сверкает... а затем, в ясности следующей вспышки – та ферма... та мельница... о господи, он *был* здесь!.. сбросить газ... это *его* дорога... забор и деревья... а скорость падает до семидесяти, потом шестьдесят, пятьдесят пять, на ней и остаюсь.

– Почему тормозим? – кричит Крис.

– Слишком быстро!

– Нет!

Киваю, что да.

Домик и водокачка промелькнули, вот небольшая дренажная канава и вбок к горизонту уходит дорога. Да... оно, думаю. Так и есть.

– Они уже далеко! – вопит Крис. – Догоняй!

Мотаю головой.

– Почему? – вопит он.

– Опасно!

– Они уехали!

– Подождут.

– Быстрее!

– Нет. – Я качаю головой. Смутное чувство. На мотоцикле им доверяешь, и остаемся на пятидесяти пяти.

Начинается дождь, но впереди огоньки города... Так и знал, что он здесь будет.

Когда подъезжаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым деревом у дороги.

– Что с вами случилось?

– Сбросили скорость.

– *Это* мы поняли. Что-то не так?

– Нет. Давайте прятаться от дождя.

Джон говорит, что на другой окраине есть мотель, но я отвечаю, что мотель есть и получше – если повернуть направо по дороге, обсаженной тополями, через несколько кварталов отсюда.

Сворачиваем к тополям и проезжаем несколько кварталов – появляется небольшой мотель. В конторе Джон озирается и произносит:

– И *впрямь* недурно. Когда ты здесь бывал?

– Не помню, – отвечаю я.

– Откуда тогда про него знаешь?

– Интуиция.

Он смотрит на Сильвию и качает головой.

Сильвия уже сколько-то за мной наблюдает. Замечает, как у меня подрагивают руки, когда расписываюсь в книге регистрации.

– Ты ужасно бледный, – говорит она. – Это на тебя молния так?

– Нет.

– Ты как призрака увидал.

Джон с Крисом смотрят на меня, и я отворачиваюсь к двери. Льет по-прежнему как из ведра, но мы делаем рывок к комнатам. Наши пожитки на мотоциклах укрыты, и мы переживаем грозу – потом заберем.

Дождь заканчивается, небо чуть светлеет. Но со двора мотеля вижу, что за тополями почти совсем сгустилась другая тьма – ночная. Идем в город, ужинаем, а когда возвращаемся, дневная усталость догоняет меня по-настоящему. Почти не шевелимся в металлических шезлонгах во дворе, медленно допиваем пинту виски, которую Джон принес из холодильника мотеля вместе с какой-то разбавкой. Виски льется внутрь медленно и приятно. Прохладный ночной ветерок постукивает листочками тополей у дороги.

Крис спрашивает, что будем делать дальше. Неугомонный парнишка. Новизна и странность обстановки возбуждают его, и он предлагает нам петь песни, как в лагере.

– Мы не очень хорошо поем песни, – говорит Джон.

– Тогда давайте рассказывать истории. – Крис задумывается. – О призраках знаете? Все пацаны у нас в домике рассказывали по ночам о призраках.

– Лучше *ты* нам расскажи, – просит Джон.

И Крис рассказывает. Слушать его истории довольно забавно. Некоторые я с его возраста не слышал. Говорю ему об этом, и он хочет послушать, о чем рассказывали мы, но я ни одной истории не помню.

Немного погодя спрашивает:

– Ты веришь в призраков?

– Нет, – отвечаю я.

– Почему?

– Потому что они *не-на-уч-ны*.

Джон улыбается моему тону.

– В них не содержится материи, – продолжаю я, – и нет энергии, а поэтому, согласно законам науки, они существуют только у людей в головах.

Виски, усталость и ветер в деревьях уже мешаются у меня в голове.

– Конечно, – прибавляю я, – законы науки тоже не содержат в себе материи и не имеют энергии, а потому существуют только у людей в головах. Лучше сохранить целиком научный подход ко всему и не верить ни в призраков, ни в научные законы. Так безопаснее всего. Вере тут делать нечего, но и это научный подход.

– Я не понимаю, о чем ты, – говорит Крис.

– Это у меня такая хохма.

У Криса опускаются руки, когда я так разговариваю, но он, по-моему, не обижается.

– Один пацан из Христианского союза молодежи говорит, что он верит.

– Он просто тебя дурачит.

– Ничего не дурачит. Говорит, что, если людей правильно не похоронили, их призраки возвращаются и преследуют людей. Он правда в это верит.

– Он тебя просто дурачит, – повторяю я.

– Как его зовут? – спрашивает Сильвия.

– Том Белый Медведь.

Мы с Джоном переглядываемся, вдруг понимая одно и то же.

– А-а, *индеец!* – говорит он.

Я смеюсь.

– Наверное, придется кое-какие слова взять обратно, – говорю я. – Я думал о европейских призраках.

– Какая разница?

Джон хохочет:

– Он тебя поймал.

На минуту задумываюсь и говорю:

– Ну, индейцы порой иначе на все смотрят – не скажу, что неправильно. Наука не входит в индейскую традицию.

– Том Белый Медведь сказал, что папа и мама не велели ему во все это верить. А бабушка шепнула, что это все равно правда, вот он и верит.

Крис умоляюще смотрит на меня. Ему *действительно* иногда хочется что-то знать. Хохмить еще не значит быть хорошим отцом.

– Еще бы, – отвечаю я, давая задний ход, – я тоже верю в призраков.

Теперь на меня странно смотрят Джон и Сильвия. Понимаю, что на сей раз мне так легко не отделаться, и собираюсь с духом перед долгим объяснением.

– Совершенно естественно, – говорю я, – считать невеждами европейцев, веривших в призраков, ну или индейцев. Научная точка зрения низвела все остальные точки зрения до какого-то примитивизма, стало быть, если человек сегодня говорит о призраках или духах, он считается невеждой – или же чокнутым. Почти невозможно представить себе мир, где на самом деле могут существовать призраки.

Джон кивает, и я продолжаю:

– Мое личное мнение: интеллект современного человека – не такое уж совершенство. Коэффициент его не сильно изменился. Индейцы и средневековые люди были не глупее нас, но мыслили в совершенно ином контексте. Призраки и духи в том *контексте* мышления так же реальны, как для современного человека реальны атомы, частицы, фотоны и кванты. Вот в *этом* смысле я верю в призраков. У человека современного тоже свои призраки и духи.

– Какие?

– Ну, законы физики и логики... система чисел... принцип алгебраической подстановки. Все это призраки. Просто мы верим в них так истово, что они кажутся реальными.

– По-моему, они и есть реальны, – говорит Джон.

– Не улавливаю, – говорит Крис.

И я продолжаю:

– Например, вроде бы совершенно естественно подразумевать, что гравитация и закон тяготения существовали до Исаака Ньютона. Только чокнутый решит, будто до XVII века гравитации не было.

– Конечно.

– Так когда начал действовать закон? Был всегда?

Джон хмурится, пытаюсь понять, к чему я клоню.

– А веду я вот к чему, – говорю я. – До начала Земли, до того, как образовались Солнце и звезды, до самого первоначального порождения всего – закон тяготения существовал.

– Еще бы.

– Сидя в пустоте, без собственной массы, без собственной энергии, не находясь ни в чем мозгу, потому что никого еще не было, ни в пространстве, потому что и пространства не существовало, нигде, – этот закон тяготения все-таки был?

Вот теперь Джон, кажется, уже не так уверен.

– Если закон тяготения существовал, – говорю я, – честное слово, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы *не* существовать. Мне кажется, закон тяготения выдержал все испытания на несуществуемость, что только есть. Нельзя придумать ни единого качества несуществования, которого бы не нашлось у закона тяготения. И ни одного-единственного научного определения существования, которым бы он обладал. И все-таки «здравый смысл» заставляет верить, что он был.

Джон говорит:

– Пожалуй, тут надо подумать.

– Ну, тогда – с хорошей точностью – ты будешь думать над этим долго и в итоге начнешь ходить кругами, пока не придешь к единственно возможному, рациональному, разумному заключению. Закона тяготения и самой гравитации *не существовало* до Исаака Ньютона. Никакой больше вывод не имеет смысла... А *это значит*, – продолжаю я, не дав ему перебить, – *это значит*, что закон тяготения существует *только* в головах у людей! Это призрак! Мы все очень заносчивы и самонадеянны, когда черним чужих призраков, а к своим относимся так же невежественно, варварски и суеверно.

– Почему ж тогда все верят в закон тяготения?

– Массовый гипноз. В своей очень ортодоксальной форме, называемой «образование».

– В смысле, учитель гипнотизирует детей, чтобы те верили в закон тяготения?

– Конечно.

– Абсурд.

– Слыхали, как важен зрительный контакт в классе? Каждый педагог это подчеркивает.

И ни один этого не объясняет.

Джон качает головой и наливает мне еще. Прикрывает рот ладонью и театрально шепчет Сильвии:

– Знаешь, он всегда производил впечатление вполне нормального парня.

Я парирую:

– Ничего нормальнее я за последние недели не сказал. Обычно я прикидываюсь таким же безумцем двадцатого века, как вы. Чтобы не привлекать к себе внимания... Но для вас *повторю*. Мы верим, что бестелесные слова сэра Исаака Ньютона сидели невесть где за миллиарды лет до его рождения, а он их магически *открыл*. Они были всегда – даже когда ни к чему не применялись. Постепенно возник мир, и они стали применяться к *миру*. Они-то и слепили мир. Это, Джон, смешно... Проблема, противоречие, на котором застряли ученые, – *разум*. Разум не обладает ни материей, ни энергией, но его господства над всем, что ученые делают, не избежать. Логика существует в уме. Числа существуют только в уме. Я не расстраиваюсь, когда ученые говорят, что призраки существуют в уме. Меня достает лишь вот это *лишь*. Наука тоже *лишь* у тебя в уме, только ее это не портит. И призраков не портит тоже.

Все просто смотрят на меня, поэтому я продолжаю:

– Законы природы человек *придумал*, как призраков. Законы логики, математики тоже человек придумал, как призраков. Всю эту лепоту придумал человек, включая само представление о том, что ничего этого человек *не* придумывал. Мир вообще никак не существует вне человеческого воображения. Он весь – призрак, в древности его таковым и счи-

тали, всю эту лепоту, в которой мы живем. Мир управляется призраками. Мы видим то, что видим, поскольку призраки нам это *показывают* – призраки Моисея, Христа, Будды, Платона, Декарта, Руссо, Джефферсона, Линкольна, снова и снова. Исаак Ньютон – очень хороший призрак. Один из лучших. Ваш здравый смысл – просто-напросто голоса тысяч таких призраков прошлого. Призраков, и только их. Призраков, что пытаются найти себе место среди живых.

Джон не отвечает – видать, задумался. А Сильвия распалилась.

– С чего ты все это *взял*? – спрашивает она.

Ответ готов сорваться у меня с языка, но я передумываю. По-моему, я уже и так перегнул палку, а то и вообще ее поломал. Хорошего понемножку.

Немного спустя Джон произносит:

– Отлично, что мы опять в горах.

– Да, неплохо, – соглашаюсь я. – За это по последней!

Мы допиваем бутылку и расходимся по номерам.

Крис идет чистить зубы, но душ обещает принять завтра – и я на сей раз спускаю ему с рук. По старшинству захватываю постель у окна. Когда свет погашен, Крис говорит:

– Теперь расскажи о призраках.

– Я же только что рассказал, во дворе.

– Нет, ты расскажи по-настоящему.

– Это была самая-пресамая настоящая история о призраках.

– Ты же меня понял. Другую расскажи.

Пытаюсь вспомнить что-нибудь попривычнее.

– В детстве, Крис, я помнил много, а теперь все забыл. Пора спать. Нам всем рано вставать завтра.

Тихо, если не считать сквозняка в щелях жалюзи. Меня успокаивает и убаюкивает эта мысль: вот ветер несется к нам по открытым равнинам прерий.

Ветер крепчает и слабнет, крепчает и вздыхает, и слабнет вновь... из такой дали прилетел.

– А ты сам знал призрака? – спрашивает Крис.

Я уже почти сплю.

– Крис, – отвечаю я, – у меня однажды был приятель, который всю свою жизнь только и делал, что охотился на призрака, и в итоге лишь зря потратил время. Поэтому спи.

Ошибку осознаю слишком поздно.

– А он его нашел?

– Да, Крис, он его нашел.

Хоть бы Крис слушал ветер, а не задавал вопросы.

– А потом что сделал?

– Проучил его хорошенько.

– А потом?

– А потом сам стал призраком.

Я с чего-то решил, что Криса это убаюкает, но нет, и я сам просыпаюсь.

– А как его зовут?

– Ты его не знаешь.

– Ну *как*?

– Не важно.

– Ну все равно – как?

– Поскольку, Крис, это не важно, его зовут Федр. Ты такого имени не знаешь.

– Это его ты видел на мотоцикле под дождем?

– С чего ты *взял*?

- Сильвия сказала, что ты увидел призрака.
- Это она так выразилась.
- Пап?
- Крис, пусть это будет последний вопрос, а то я рассержусь.
- Я просто хотел сказать, что так, как ты, вообще никто не говорит.
- Да, Крис, я знаю, – отвечаю я. – В том-то и загвоздка. Теперь спи.
- Спокойной ночи, пап.
- Спокойной ночи.

Через полчаса он уже сопит, ветер нисколько не утих, а у меня сна ни в одном глазу. За окном в темноте – холодный ветер овеивает дорогу, теряется в деревьях, листья – мерцающие блески лунного света: несомненно, Федр все это видел. Понятия не имею, что он тут делал. Вероятно, так никогда и не узнаю, зачем он поехал по этой дороге. Но он был здесь, вывел нас на этот странный путь и вел все это время. Выхода нет.

Вот бы сказать, что я не знаю, зачем он здесь, однако, боюсь, должен признаться – я знаю. Все, что я говорил о науке и призраках, и даже про равнодушие и технику днем – все это не мои мысли. У меня уже много лет не бывает новых мыслей. Я их украл у него. А он наблюдает. Вот зачем он здесь.

Вот, признался – надеюсь, теперь он даст мне поспать.

Бедный Крис. «Истории о призраках знаете?» – спросил. Я мог бы рассказать ему одну историю, но даже мысль об этом пугает.

В самом деле пора спать.

4

Где-то в каждом шатокуа должен быть список ценных вещей, чтоб не забыть, – должен храниться в безопасном месте, чтобы при необходимости черпать в нем вдохновение. Детали. И вот пока остальные храпят, растрачивая это прекрасное утреннее солнышко... что ж... время-то все равно девать некуда...

У меня тут свой список ценностей: взять с собой в следующую мотопоездку по Дакотам.

Я проснулся на рассвете. На соседней кровати Крис еще крепко спит. Я стал перекачаться на другой бок поспать еще, но услышал петуха и вспомнил, что мы в отпуске, а потому спать нет смысла. За тонкой стенкой мотеля работает лесопилка Джона... если не Сильвии... нет, слишком громко. Прямо чертова бензопила...

Я до того устал забывать вещи в такие поездки, что составил этот список раз и навсегда и положил дома в папку, чтобы проверять перед каждым выездом.

Большинство пунктов банальны и не требуют особых пояснений. Некоторые – только для мотоциклистов, их надо пояснить. Некоторые вообще дикие, их надо разъяснять особо. Список делится на четыре части: Одежда, Личные Вещи, Кухонное и Туристское Снаряжение и Мотоциклетные Принадлежности.

Первая часть – Одежда – проста:

1. Две смены белья.

2. Теплое белье.

3. Смена рубашки и брюк для каждого. Я обычно беру списанную армейскую форму. Она дешева, прочна, и на ней не видно грязи. У меня сначала был еще пункт «парадная одежда», но Джон напротив него дописал карандашом: «смокинг». Я же думал лишь о том, что можно носить за пределами автозаправки.

4. Каждому по свитеру и куртке.

5. Перчатки. Кожаные перчатки без подкладки лучше всего – предохраняют от солнечных ожогов, впитывают пот и остужают руки. Если выезжаешь на час-другой, такие мелочи не особенно важны, но когда едешь целый день, а то и не один, без них никак.

6. Мотоциклетные сапоги.

7. Что-нибудь от дождя.

8. Шлем и козырек от солнца.

9. Пузырь. От закрытого шлема у меня клаустрофобия, поэтому я надеваю его только в дождь; капли на большой скорости вонзаются в лицо, как иголки.

10. Очки. Я не люблю ветровых стекол – они тоже отгораживают от внешнего мира. У меня английские очки из многослойного стекла, очень хорошие. Под простые солнцезащитные забирается ветер. Пластиковые легко царапаются и сильно искажают.

Следующий список – Личные Вещи:

Расчески. Бумажник. Складной нож. Записная книжка. Ручка. Сигареты и спички. Фонарик. Мыло в пластиковой мыльнице. Зубные щетки и паста. Ножницы. Что-нибудь от головной боли. Средство от насекомых. Дезодорант (в конце жаркого дня на мотоцикле лучшим друзьям даже не придется тебе намекать). Лосьон от загара (на мотоцикле не замечаешь солнечного ожога, пока не остановишься, а тогда уже будет поздно; лучше намазаться заранее). Пластырь. Туалетная бумага. Мочалка (можно класть в пластмассовую коробку, чтоб больше ничего не промокло). Полотенце.

* * *

Книги. Не знаю других мотоциклистов, кто брал бы с собой книги. Занимают много места, но все равно сейчас у меня с собой их три. Внутрь вложены листки чистой бумаги для записей. Вот эти книги:

а. Заводская инструкция для этого мотоцикла.

б. Общий справочник неисправностей со всей технической информацией, что не держится в голове. У меня «Чилтоновский справочник неисправностей мотоцикла», написанный Оси Ричем; продается в магазинах «Сирз-Роубак».

в. «Уолден» Торо... его Крис еще никогда не слышал, а читать его можно сотни раз без усталости. Я всегда стараюсь подобрать книгу намного выше его уровня и читаю, скорее чтоб нам было о чем поговорить, а не просто сплошняком. Читаю фразу-другую, жду, чтоб Крис налетел с тучей своих обычных вопросов, отвечаю, потом читаю фразу-другую дальше. Классика так читается хорошо. Она должна быть так написана. Иногда мы с ним целый вечер так читаем и беседуем, а в конце понимаем, что прочли всего две-три страницы. Так читали сто лет назад... когда были популярны шатокуа. Если не пробовал, и представить себе не можешь, как это приятно.

Крис спит – совсем расслабился, не напряжен, как обычно. Не стану его, наверное, пока будить.

Туристское Снаряжение:

1. Два спальных мешка.
2. Два армейских плаща и одна подстилка. Они превращаются в палатку, а также защищают багаж от дождя при езде.
3. Веревка.
4. Топографические карты района, по которому мы надеемся поехать.
5. Мачете.
6. Компас.
7. Фляга. Когда мы уезжали, я так и не смог ее найти. Наверное, дети куда-то задевали.
8. Два списанных армейских столовых набора – нож, вилка и ложка.
9. Разборная печка «Стерно» со средней банкой топлива. Экспериментальная покупка; я еще ею не пользовался. Под дождем или выше зоны лесов дрова найти – целая проблема.
10. Несколько алюминиевых банок с притертыми крышками. Для жира, соли, масла, муки, сахара. Много лет назад мы купили их в магазине для альпинистов.
11. «Брилло», чистящая паста.
12. Два станковых рюкзака.

Мотоциклетные Принадлежности. Стандартный набор инструментов прилагается к мотоциклу и хранится под сиденьем. Дополняется следующим:

Большой разводной ключ. Слесарный молоток. Слесарное зубило. Конусный пробойник. Пара монтировок. Набор для заклейки шин. Велосипедный насос. Аэрозольный баллон с дисульфидом молибдена для цепной передачи. (Очень хорошо проникает во внутренности каждого ролика, где это важно, а преимущества дисульфида молибдена как смазочного средства всем хорошо известны. Тем не менее, когда он высыхает, его надо разводить старым добрым машинным маслом SAE-30.) Силовая отвертка. Остроносый напильник. Толщиномер. Сигнальная лампа.

В запчасти входят:

Свечи. Дроссельный клапан, муфта сцепления и тормозные тросики. Контакты, предохранители, лампочки к фаре и габаритным огням, звено цепи с держателем, шплинты, трос. Запасная цепь (старая, уже изношенная, но хватит, чтобы добраться до мастерской, если полетит новая).

* * *

Вот, пожалуй, и все. Никаких шнурков.

Вероятно, естественно было б уже поинтересоваться, в каком трейлере все это поместится. Но занимает не так много места, как может показаться.

Боюсь, остальные герои проспят весь день, если им разрешить. Ясное небо снаружи искрится, стыдно тратить время зря.

Наконец решаюсь и трясусь Криса. Глаза у него распахиваются, он подскакивает, ничего не соображая.

– Пора в душ, – говорю.

И выхожу наружу. Воздух бодрит. Хотя вообще-то – бож-же! – какая *холодина*. Колочу в дверь Сазерлендов.

– Уг, – доносится из-за двери сонный голос Джона. – Умгммммхгм. Угм.

Чувствуется *осень*. Мотоциклы мокры от росы. Дождя сегодня не будет. Но *холодно!* Градусов сорок³.

Пока остальные собираются, проверяю уровень масла, шины, болты и натяжение цепи. Цепь провисает, достаю инструменты и подтягиваю. Скорей бы уж выехать, что ли.

Крис одевается потеплее, складываемся и едем. Еще как холодно. За несколько минут все тепло из одежды выдувает, и меня начинает трясти по-крупному. Бодрит.

Когда солнце поднимется выше, должно потеплеть. Еще полчаса – и будем завтракать в Эллендейле. По таким прямым дорогам сегодня надо успеть проехать как можно больше.

Если бы не этот дьявольский дубак, прогулка была бы просто роскошной. На полях лежит что-то вроде инея, на нем искрятся лучи низкого утреннего солнца, но это, по-моему, просто роса – блестящая и какая-то туманная. Повсюду рассветные тени, и местность уже не кажется такой плоской, как вчера. Все – только для нас. Похоже, никто еще даже не проснулся. На моих часах шесть тридцать. Старая перчатка над ними тоже вроде как заиндевела, но это скорее соль после вчерашнего дождя. Старые добрые ношенные перчатки от холода так задубели, что пальцы едва разгибаются.

Вчера я говорил о равнодушии; эти ветхие мотоциклетные перчатки *не безразличны* мне. Улыбаюсь им – они летят рядом, их обдувает ветром, – потому что они со мной уже столько лет, они так стары, усталы, гнилы, что просто смешно. Пропитались маслом, потом, грязью, раздавленными жуками, и теперь, даже когда им не холодно, кладу их на стол – и они не хотят лежать плоско. У них своя память. Стоили всего три доллара, а штопались столько раз, что залатать их уже невозможно, однако я все равно трачу на починку много времени и усилий, ибо не могу представить на их месте никакую новую пару. Непрактично, но практичность – еще не главное с перчатками. Как и с чем угодно.

Машине тоже перепадает толика этого чувства. С намотанными 27 тысячами пробега она уже долгожитель, старичок, хотя множество машин и постарше еще на ходу. Но чем больше миль – думаю, большинство мотоциклистов со мной согласится, – тем яснее распознаешь в отдельной машине некий характер, свойственный только ей и никакой другой. Один мой друг с мотоциклом той же марки, модели и даже того же года выпуска привез его мне на ремонт,

³ Здесь и далее температура дается по Фаренгейту.

и когда я потом опробовал машину, трудно было поверить, что много лет назад она сошла с того же конвейера, что и моя. За все это время его мотоцикл приобрел свои ощущения, ход и звук, совсем не такие, как у моего. Не хуже, но другие.

Наверное, это можно назвать личностью. У каждой машины *есть* собственная, уникальная личность – она, видимо, определяется как общая интуитивная сумма всего, что ты знаешь о ней и к ней испытываешь. Личность эта постоянно меняется: обычно – к худшему, но иногда, на удивление, и к лучшему. Именно эта личность и есть подлинный объект ухода за мотоциклом. Новые машины начинают жизнь симпатичными незнакомцами, и в зависимости от того, как к ним относятся, либо быстро деградируют до скверно работающих ворчунов или даже калек, либо превращаются в здоровых, добродушных друзей-долгожителей. Мой, например, несмотря на убийственное обращение тех мнимых механиков, кажется, поправился и со временем требует все меньше ремонтов.

Вот он! Эллендейл!

Водокачка, дома, разбросанные по рошицам под утренним солнцем. Я только что сдался ознобу, который почти не прекращался всю дорогу. На часах семь пятнадцать.

Через несколько минут тормозим у старых кирпичных домов. Оборачиваюсь к Джону и Сильвии, подъехавшим сзади:

– Ну и *холодина!*

Смотрят на меня рыбьими глазами.

– Бодрит, говорю, а? – Никакого ответа.

Вот спешиваются, и я вижу, как Джон пытается развязать весь их багаж. Узел не поддается. Джон бросает, идем к ресторану.

Пробую еще раз. Иду перед ними спиной вперед, меня еще потряхивает после перегона, заламываю руки и смеюсь:

– Сильвия! Поговори со мною! – Ни улыбки.

Наверное, и *впрямь* замерзли.

Заказывают завтрак, не поднимая глаз от стола.

Доедаем, и я вопрошаю:

– Что дальше?

Джон отвечает нарочито медленно:

– Мы не тронемся с места, пока не потеплеет.

Он говорит тоном шерифа на закате, отчего, видимо, это и звучит окончательным приговором.

Поэтому Джон, Сильвия и Крис сидят и греются в вестибюле отеля, примыкающего к ресторану, а я выхожу погулять.

По-моему, они разозлились на меня: поднял их в несусветную рань и погнал по такому вот. Когда держишься с кем-то вместе так тесно, маленькие различия в темпераменте, видимо, просто не могут не вылезать. Вот задумался об этом – и припоминаю, что прежде никогда не выезжал с ними раньше часу или двух дня, хотя для меня лучшее время на мотоцикле – рассвет и раннее утро.

Городок чист, свеж и совсем не похож на тот, где мы сегодня проснулись. Кое-кто уже вышел на улицу, открывают лавки и говорят «доброе утро», беседуют и замечают, до чего сегодня холодно. Два термометра на теневой стороне улицы показывают 42 и 46 градусов. Тот, что на солнце, показывает 65.

Через пару-другую кварталов главная улица двумя наезженными грунтовыми колеями съезжает в поле мимо сарая из гофры, полного сельхозтехники и ремонтного инвентаря, и там, в поле, заканчивается. На поле стоит человек и смотрит на меня с подозрением: чего это я заглядываю в сарай? Я возвращаюсь на улицу, нахожу зябкую скамейку и принимаюсь разглядывать мотоцикл. Делать нечего.

Правильно, было холодно, но не *настолько* же. Как вообще Джон с Сильвией зимуют в Миннесоте? Какая-то вопиющая непоследовательность – это так очевидно, что к чему вообще о ней говорить. Если они терпеть не могут физического дискомфорта и не переносят техники, нужен хоть какой-то компромисс. Они одновременно зависят от техники и проклинают ее. Я уверен, что они это сознают, – и потому еще больше не любят. Они не представляют логический тезис, а просто сообщают, как и что. Но вот из-за угла в город въезжают три фермера в новеньком пикапе. У них-то наверняка все наоборот. Они будут хвастаться и этим своим пикапом, и трактором, и новой стиральной машиной, и у них найдутся инструменты для починки, если что-то вдруг сломается, и они умеют этими инструментами работать. Они *ценят* технику. И как раз им она нужна *меньше* всего. Если вся техника исчезнет – завтра же, – эти люди выкрутятся. Туговато придется, но они выживут. А Джон, Сильвия, Крис и я подохнем через неделю. Такая анафема технике – неблагодарность, вот что это.

Хотя – тупик. Если человек неблагодарен, и ему говоришь, что он неблагодарная скотина, – ладно, обозвал. Только ничего не решилось.

Через полчаса термометр у дверей отеля показывает 53 градуса. Компаньоны мои сидят в пустом зале ресторана, но им не сидится. Хотя, судя по лицам, настроение у них отменное, и Джон с воодушевлением говорит:

– Я надену все, что у меня есть, и тогда будет полный порядок.

Выходит к мотоциклам, потом возвращается:

– Конечно, очень не хочется все распаковывать, но и ездить, как в этот раз, я больше не хочу.

Сообщает, что в мужском туалете мороз, и, поскольку в ресторане больше никого, заходит у нас за спинами за стол, а я сижу, с Сильвией беседую, потом гляжу – стоит Джон, в полный рост выраженный в бледно-голубое теплое белье. До того глупо выглядит, что ухмыляется от уха до уха. Я бросаю взгляд на его очки, оставшиеся на столе, потом говорю Сильвии:

– Знаешь, минуту назад мы сидели и трепались тут с Кларком Кентом... видишь, вот его очки... а теперь вдруг... Лоис, ты думаешь...

Джон взывает:

– СУПНЫЙ МЭН!

Скользит по натертому полу, как конькобежец, проходится колесом и скользит обратно. Поднимает руку над головой и чуть приседает, будто сейчас рванет в небо.

– Я готов, я иду! – Потом с грустью качает головой: – Ох, как не хочется портить этот славный потолок, но мое рентген-зрение подсказывает, что кто-то попал в беду.

Крис хихикает.

– Мы все попадем в беду, если ты что-нибудь не наденешь, – говорит Сильвия.

Джон смеется:

– Эксгибиционист, а? «Элленсдейлский разоблачитель»!

Он гуляет по залу в таком виде, потом принимается натягивать одежду со словами:

– О нет, о нет! Они этого не сделают. У Супного Мэна и полиции договоренность. Они знают, кто на стороне закона, порядка, справедливости, порядочности и честной игры для каждого.

Когда опять выезжаем на шоссе, еще прохладно, но уже не так. Проезжаем несколько городков, и постепенно, почти неощутимо солнце нас разогревает, и я сам вместе с ним теплею. Усталость выветривается полностью, ветер и солнце – уже хорошо, все по-настоящему. Вот оно, вот оно – солнце теплеет, и поэтому дорога, зеленые степные уголья и бьющий в лицо ветер сливаются в одно. И вскоре остается лишь прекрасное тепло, ветер, скорость и солнце на пустой дороге. От теплого воздуха тает последний утренний озноб. Ветер, и снова солнце, и снова гладкая дорога.

Так зелено это лето и так свежо.

В траве перед старой проволочной оградой – белые и золотые маргаритки, за ними – луг с коровами, а еще дальше, совсем вдали – мягкий подъем, и наверху что-то золотится. Трудно сказать что. А знать и не нужно.

Там, где дорога слегка идет в гору, гул мотора тяжелеет. Одолеваем пологий перевал, и перед нами снова разворачивается земля, дорога спускается, гул опять стихает. Прерия. Спокойная и отстраненная.

Позже останавливаемся, и у Сильвии в глазах слезы от ветра; она вытягивает руки и говорит:

– Так прекрасно. Так пусто.

Показываю Крису, как расстилать куртку на земле и делать подушку из запасной рубашки. Ему совсем не хочется спать, но все равно велю ему лечь: нужно отдохнуть. Расстилаю свою куртку, чтобы самому вобрать как можно больше тепла. Джон вытаскивает камеру.

Немного погодя говорит:

– Такое снимать – труднее всего на свете. Нужен объектив на 360 градусов, что ли? Вот видишь что-то, потом смотришь в матовое стекло, а там какая-нибудь ерунда. Как только надеваешь границу, все исчезает.

– Из машины поди так не увидишь, – говорю я.

– Мне было лет десять, – говорит Сильвия, – и мы однажды вот так же остановились у дороги, и я наснимала полплетки. А когда она вернулась из проявки, я плакала. На снимках ничего не оказалось.

– Когда же мы поедем? – канючит Крис.

– Куда ты торопишься? – осаживаю его я.

– Просто хочу ехать.

– Впереди нет ничего лучше того, что у тебя перед носом.

Молчит, хмурится и опускает взгляд:

– А мы вечером будем ставить палатку?

Сазерленды нерешительно смотрят на меня.

– Будем? – настаивает он.

– Посмотрим, – отвечаю я.

– Почему посмотрим?

– Потому что я пока не знаю.

– А почему ты пока не знаешь?

– Ну, просто сейчас не знаю, почему я сейчас пока не знаю.

Джон пожимает плечами: все в порядке. Я говорю:

– Тут не очень удобно вставать лагерем. Негде укрыться и нет воды. – Но неожиданно добавляю: – Хорошо, вечером разбиваем лагерь. – Разговор об этом у нас уже был.

Поэтому едем дальше по пустой дороге. Не хочу ни владеть этими прериями, ни снимать их, ни менять их, ни останавливаться – даже двигаться дальше не хочу. Просто едем по пустой дороге.

5

Плоскость прерии исчезает, и земля начинает вздыматься крутыми волнами. Заборы все реже, зелень бледнеет... все признаки того, что мы близимся к Высоким равнинам.

Останавливаемся в Гааге заправиться и спрашиваем, можно ли как-то переправиться через Миссури между Бисмарком и Мобриджем. Служитель не знает. Уже припекает, и Джон с Сильвией куда-то уходят снять теплое белье. У мотоцикла меняют масло и смазывают цепь. Крис наблюдает за тем, что я делаю, с легким нетерпением. Нехороший признак.

– Глазам больно, – говорит он.

– От чего?

– От ветра.

– Поищем очки.

Все вместе заходим в магазин за кофе и булочками. Для нас все здесь новое, кроме нас самих, поэтому мы не болтаем, а больше смотрим по сторонам, ловим обрывки разговоров – похоже, люди тут давно знакомы и разглядывают *нас*, поскольку новенькие – *мы*. Потом в лавке дальше по дороге я нахожу термометр – чтоб был в багаже – и пластиковые очки для Криса.

Человек из скобяной лавки тоже не знает короткого пути через Миссури. Изучаем с Джоном карту. Я надеялся отыскать какую-нибудь неофициальную переправу – паром, пешеходный мост, что-нибудь такое, но на все девяносто миль, по всей видимости, ничего нет, поскольку на другой стороне добираться особо не к чему. Сплошная индейская резервация. Решаем ехать на юг к Мобриджу и переправиться там.

Дорога на юг ужасна. Извилистая, узкая, бугристая бетонка, неприятный встречный ветер; солнце в глаза и большие полуприцепы навстречу. На этих русских горках они поначалу разгоняются под уклон, потом сбрасывают скорость на подъеме, и заранее их не увидишь, сплошная нервотрепка. Первый меня напугал – я не был к нему готов. А теперь взял себя в руки и готовлюсь заранее. Не опасно. Просто бьет ударной волной. Здесь жарче и суше.

В Херрейде Джон исчезает выпить, а Сильвия, Крис и я находим в скверике тень и пытаемся отдохнуть. Не отдыхается. Что-то изменилось, и я не очень понимаю, что именно. Улицы в городке широки, гораздо шире, чем нужно, а воздух бледен от пыли. Пустыри меж домов заросли сорняками. Сараи из листового железа и водокачка – такие же, как в городишках раньше, только какие-то рассевшиеся. Все запущеннее и механистичнее; и раскидано как-то наобум. Постепенно до меня доходит. Здесь никому больше нет дела до аккуратности и экономности в пространстве. Земля больше не ценится. Это уже Запад.

В Мобридже обедаем гамбургерами с солодовым молоком в «Аллен-и-Райт», катим по главной улице с плотным движением и у подножия холма видим ее – Миссури. Странна вся эта движущаяся вода среди травянистых холмов, которым воды едва достается. Оборачиваюсь и кидаю взгляд на Криса, но ему, кажется, не особо интересно.

Спускаемся к берегу, лязгаем по мосту – и по ходу смотрим на реку сквозь ритмично мелькающие столбики ограждения; вот мы уже на другом берегу.

Долго, очень долго взбираемся по склону и попадаем в совсем иную местность.

Здесь вообще заборов нет. Ни кустов, ни деревьев. Скаты холмов так огромны, что мотоцикл Джона впереди похож на муравья, что ползет по зеленым укосам. На вершинах над головой нависают скалы – там на поверхность выходят горные породы.

Все это ухожено как-то естественно. Если б земли здесь бросили, вид у них был бы пожеванный и взьерошенный: бетонные бабы от старых фундаментов, обрывки крашенных листов железа и мотки проволоки, сорняки везде, где ради какой-то фигни взрыли дерн. А здесь ничего этого нет. Не прибрано – просто не изгажено. Наверное, так и было всегда. Резервация.

По ту сторону скал не будет дружелюбного механика, и я спрашиваю себя, готовы ли мы к этому. Не дай бог неполадка – мало не покажется.

Рукой проверяю температуру двигателя. Он успокаивающе прохладен. Выключаю сцепление и даю мотоциклу секунду катиться по инерции, чтобы послушать, как работает вхолостую. Звук какой-то не такой, и я повторяю процедуру. Вычисляю не сразу, что дело тут вовсе не в двигателе. Это эхо от утеса, стоит перекрыть дроссель. Забавно. Я проделываю такой финт раза два-три. Крис спрашивает, что случилось, и я даю ему послушать эхо. В ответ от него ни звука.

Наш старый двигатель звякает, как мелочь. Словно внутри монетки катаются. Ужас, но это просто клапаны лязгают, нормально. Как только привыкнешь и научишься ждать этого лязга, автоматически будешь слышать сбои. Если их не слышно – хорошо.

Я как-то пытался обратить на этот звук внимание Джона, только все без толку. Он слышал только шум, видел только машину и меня с перепачканными смазкой инструментами в руках – больше ничего. Не вышло.

Он на самом деле не видит, что происходит, и ему неинтересно ковыряться. Ему интереснее, что оно *есть*, чем что оно *значит*. Такой его взгляд – это важно. У меня ушло много времени, чтобы понять разницу, и для шатокуа имеет значение, что я эту разницу ясно понимаю.

Меня так ошарашил его отказ даже думать о всякой механике, что я все пытался навести его на эту тему, только не знал, с чего начать.

Хотел было подождать, пока что-нибудь не случится с *его* машиной: тут я и помогу *ему* ее починить, так его и втяну – но сам попал впросак, поскольку не понимал, насколько иначе он смотрит на мир.

У него начали соскальзывать рукоятки руля. Не сильно, сказал он, только если на них налегаешь. Я предупредил, чтоб он не вздумал затягивать гайки разводным ключом: нарушится хромовое покрытие и пойдут ржавые пятнышки. Он согласился взять мой набор метрических торцевых головок.

Когда он привез мотоцикл, я достал свои ключи, но заметил, что никаким подкручиванием гаек ничего не исправить, поскольку концы хомутиков накрепко защемлены.

– Надо расклинить их прокладкой, – сказал я.

– Что такое прокладка?

– Плоская тонкая полоска металла. Надо просто надеть ее на рукоятку под хомутик, чтоб можно было опять затянуть ту же. Такими прокладками регулируют всякие машины.

– А-а, – сказал он. Заинтересовался: – Хорошо. Где их покупают?

– У меня есть, – злорадно сказал я, протягивая ему банку из-под пива.

Он сначала не понял. Потом переспросил:

– *Что – банка?*

– Конечно, – ответил я. – Лучший в мире склад прокладок.

Сам-то я считал, что это довольно умно. Сэкономить ему путешествие бог знает куда за прокладками. Сэкономить ему время. Сэкономить ему деньги.

Но, к моему удивлению, он не увидел тут ничего умного. К моему предложению отнесся как-то надменно.

А вскоре и вообще начал отлынивать, отмазываться – и не успел я понять, что он думает по этому поводу, он решил совсем не чинить никакие рукоятки.

Насколько я знаю, рукоятки болтаются до сих пор.

И сейчас мне кажется, что в тот день я его оскорбил.

У меня хватило дерзости предложить отремонтировать его новый «BMW» за восемнадцать сотен долларов, гордость полувекового германского совершенства, куском старой банки из-под пива!

*Ach, du lieber!*⁴

С тех пор у нас с ним было очень мало разговоров об уходе за мотоциклом. Если точнее – совсем не было.

Чуть на него надавишь – и вдруг сам злишься, бог весть от чего.

В порядке объяснения должен сказать: алюминий от пивных банок мягок и липуч для металла. И тем совершенен. Не окисляется в непогоду – точнее, у него на поверхности всегда тонкий оксидный слой, поэтому дальше он не окисляется. Тоже неплохо.

Иными словами, любой *истинный* немецкий механик с полувековым стажем механического мастерства за плечами заключил бы, что вот это частное решение этой частной технической проблемы *совершенно*.

Некоторое время я думал: надо было потихоньку отойти к верстаку, вырезать из пивной банки прокладку, стереть краску, а потом вернуться и сказать, что нам несказанно повезло – у меня осталась последняя прокладка, специально импортированная из Германии. Это бы все и решило. Особая прокладка из личного запаса барона Альфреда Круппа, которому пришлось пойти на большие жертвы и ее продать. Тогда бы Джон точно умом тронулся.

Эта фантазия о прокладке от самого Круппа чуть поутешала меня, но затем испарилась, и я понял, что это я так мшу. На месте фантазии опять взошло старое ощущение, я уже говорил: будто дело тут не только в том, что лежит на поверхности. Следишь за такими несообразностями подолгу, а они иногда выводят к ошеломляющим откровениям. Со своей стороны я по наитию ощущал, что это мне не по плечу, если сперва не раскину мозгами, и потому я по обыкновению принялся извлекать причины и следствия, пытаюсь увидеть, что же тут намешано – что заводит нас с Джоном в тупик различных взглядов на прекрасную прокладку. В механической работе вечно так. Завис. Просто сидишь, тарацишься и думаешь, наобум ищешь новую информацию, уходишь и возвращаешься, а немного погодя возникают ранее не видимые факторы.

Вначале смутно, затем – с очертаниями все четче возникло такое объяснение: я видел эту прокладку интеллектуально, рационально, умозрительно – в расчет брались только научные свойства металла. Джон же рассматривал ее непосредственно, интуитивно, оттяжно. Я подходил к ней с точки зрения внутренней формы. Он – с точки зрения непосредственного внешнего вида. Я видел, что прокладка *значит*. Он – чем она *является*. Вот как я стал понимать эту разницу. А если видишь, чем прокладка *является*, в данном случае это угнетает. Кому понравится, что прекрасную, высокоточную машину чинят какой-то дрянью?

Кажется, я забыл упомянуть, что Джон – музыкант, барабанщик; играет с группами по всему городу и неплохо зарабатывает. По-моему, он обо всем думает так же, как об игре на ударных, – то есть не *думает* вообще. Просто делает. Просто существует с этим. На починку мотоцикла пивной банкой он отреагировал так же, как если бы кто-то запаздывал, когда он играет. У него внутри просто бухнуло, и все – он больше не хочет иметь с этим никаких дел.

Поначалу различие казалось довольно незначительным, но оно росло... и росло... и росло... пока я не понял, отчего проглядел его. Кое-что пролетает мимо потому, что крохотное, его просто не замечаешь. А *чего-то* не видишь, потому что оно *огромно*. Мы оба смотрели на одно и то же, видели одно и то же, говорили об одном и том же, думали об одном и том же, только он смотрел, видел, говорил и думал в абсолютно ином *измерении*.

На самом деле ему *есть* дело до техники. Просто в своем другом измерении он терпит крах и получает от нее отпор. Техника не хочет под него подстраиваться. Он же пытается подстроить ее под себя, предварительно ничего не обдумав, и только лагает и лагает, а потом

⁴ Здесь: Ах ты душечка! (нем.) Так начинается одна из версий популярной австрийской песни, традиционно переводимой на русский как «Ах, мой милый Августин». Считается, что песня была написана в Вене во время эпидемии чумы 1678–1679 гг.

лажи столько, что он сдаётся и проклинает все эти гайки-болты скопом. Не хочет или не может поверить, что не по всему на свете можно оттянуться.

Вот его измерение. Оттяжное. А поскольку я все время талдычу про механику, я ужасно квадратный. Сплошные детали, отношения, анализы, синтезы, надо постоянно что-то вычислять, а никакой механики здесь просто *нет*. Она где-то не здесь, она только думает, что здесь, а на самом деле – за миллионы миль отсюда. *Вот* в чем все дело. А Джон – прямо посередине этой разницы измерений, которая, я думаю, лежала в основе большинства перемен в культуре 60-х и до сих пор заново определяет то, как все мы смотрим вокруг. В результате возник «конфликт поколений». Из этой разницы проросли «бит» и «хип». А теперь понятно, что это измерение – не бзик, который исчезнет через год или пару лет. Оно тут надолго, потому что это серьезный и важный взгляд – он только *выглядит* несовместимым с разумом, порядком и ответственностью, а на самом деле нет. Вот мы и докопались до корней.

Ноги так онемели, что болят. Поочередно вытягиваю их и ворожаю ступнями вправо-влево, для разминки. Помогает, но устают те мышцы, что держат ноги на весу.

* * *

У нас тут конфликт *видений реальности*. Видимый мир у нас перед носом, здесь и сейчас – *и есть реальность*, чем бы ни считали его ученые. Таким его видит Джон. Однако мир, каким его являют научные открытия, тоже реальность, как бы он ни выглядел, и если люди в измерении Джона хотят удержать свое видение реальности, им придется постараться – тут не отмахнешься. Джон это поймет, едва подгорят его контакты.

Вот почему он так расстроился, когда не смог завести мотоцикл. То было *вторжение в его реальность*. В его оттяжном мировосприятии пробило дыру, а он не сумел принять вызов, поскольку под угрозой оказался весь стиль его жизни. В каком-то смысле Джон поддался тому же гневу, каким иногда пылали люди науки при виде абстрактного искусства. Ну или *раньше* пылали. Оно тоже не соответствовало *их* стилю жизни.

Вообще, конечно, здесь *две* реальности: одна – непосредственной художественной видимости, другая – внутреннего научного объяснения, и они не совпадают, не подходят друг к другу, и у них нет практически ничего общего. Вот так ситуация. У нас тут, можно сказать, проблемка.

На каком-то перегоне долгой заброшенной дороги видим одинокую бакалейную лавку. Внутри, в глубине устраиваемся посидеть на каких-то ящиках, пьем пиво из банок.

Уже сказывается усталость, болит спина. Я подталкиваю ящик к столбу, сажусь и расслабляюсь, откинувшись.

По лицу Криса видно, что ему погано. Долгий и трудный день. Еще в Миннесоте я сказал Сильвии, что на второй или третий день стоит ожидать спада в настроении – и вот пожалуйста. Миннесота... когда это было?

Женщина, в стельку пьяная, покупает пиво какому-то мужику, который остался в машине на улице. Никак не может выбрать марку, и жена хозяина уже злится. Тетка все равно ни на что не решается, но тут видит нас, подплывает, шатаясь, и спрашивает, не наши ли мотоциклы. Мы киваем. Она хочет покататься. Я устраниюсь, пусть разбирается Джон.

Он учтиво отнекивается, но тетка настырно лезет, предлагая за прогулку доллар. Я как-то пошучиваю, но не смешно, депрессия только хуже. Выходим, и снова – бурые холмы и жара.

В Леммон приезжаем уже совсем без сил. В баре слышим, что где-то южнее – стоянка для туристов. Джон хочет поставить палатки в парке прямо посреди города, – его заявление звучит странно и очень злит Криса.

Я так устал, что даже не помню, когда в последний раз со мной такое было. Остальные – тоже. Но тащимся через универсам, собираем какую-то бакалею – что приходит в голову – и с трудом укладываем все на мотоциклы. Солнце уже так низко, что засветло не успеем. Через час стемнеет. Мы никак не можем сдвинуться с места. Просто сачкуем, что ли?

– Давай, Крис, поехали, – говорю я.

– Не *ори* на меня. Я готов.

Уезжаем из Леммона по грунтовке, изможденные, едем, наверное, целую вечность, хотя долго быть не может: солнце по-прежнему над горизонтом. Лагерь пуст. Хорошо. Но осталось меньше получаса дневного света, а сил больше нет. Теперь самое трудное.

Пытаюсь распаковаться как можно быстрее, но от усталости так одурел, что бросаю все прямо у дороги, не замечая, насколько паршиво это место. Потом соображаю, что здесь слишком ветрено. Это ветер Высоких равнин. Тут полупустыня, все выжжено и сухо, если не считать озера, большого пруда чуть ниже. Ветер дует от самого горизонта через озеро и лупит по нам резкими порывами. Уже прохладно. Ярдах в двадцати от дороги – какие-то чахлые сосенки, и я прошу Криса перенести все туда.

А он не слушается. Бредет куда-то к пруду. Переносу вещи сам.

Между ходками вижу, что Сильвия очень старательно устраивает нам кухню, хотя устала не меньше моего.

Солнце заходит.

Джон собрал валежник, но дрова такие большие, а ветер такой порывистый, что развести костер трудно. Надо порубить на щепки. Возвращаюсь к сосенкам и в сумерках пытаюсь найти в вещах мачете, но уже так темно, что ни черта не видно. Нужен фонарик. Ищу фонарик, но в темноте и его кошки съели.

Возвращаюсь, завожу мотоцикл и еду обратно искать фонарик при свете фары. Методично перерываю все. Далеко не сразу соображаю, что не фонарик мне нужен, а мачете, который у меня перед носом. Пока я ходил за мачете, Джон развел огонь. Все равно раскалываю несколько больших поленьев.

Появляется Крис. Фонарик – у *него*!

– Когда будем есть? – хнычет он.

– Как только, так сразу, – отвечаю я. – Оставь фонарик здесь.

Опять исчезает, прихватив фонарик.

Ветер задувает пламя, и оно не достает до жарящихся стейков. Собрав большие камни у дороги, мы пытаемся соорудить защитную стенку, но слишком темно. Подводим оба мотоцикла, истройка освещается перекрестными лучами фар. Станный свет. Ветер раздувает пепел, который вдруг вспыхивает белым в лучах, а потом исчезает вовсе.

БАХ! У нас за спинами что-то громко взрывается. Потом я слышу, как хихикает Крис.

У Сильвии все валится из рук.

– Я нашел хлопушки, – говорит Крис.

Успеваю сдержаться и холодно говорю ему:

– Пора есть.

– Мне нужны спички, – отвечает он.

– Сядь и поешь.

– Сначала дай мне спички.

– Сядь и поешь.

Садится, и я пытаюсь разрезать стейк армейским столовым ножом, но мясо слишком жесткое, и я взамен достаю охотничий. На меня падает свет фары, поэтому когда я кладу нож на место, он попадает в тень, и я не вижу, где он.

Крис говорит, что у него тоже не получается разрезать, и я передаю ему нож. Протянув за ним руку, он вываливает все на брезент.

Никто не произносит ни слова.

Я не сержусь на то, что он все опрокинул, – я сержусь, что весь остаток поездки брезент будет в жире.

– Еще есть? – спрашивает он.

– Ешь *это*, – отвечаю я. – Это же брезент, а не земля.

– Все равно грязь, – говорит он.

– Значит, больше ничего нет.

Накатывает депрессия. Хочется просто уснуть. Но Крис злится, и я жду его обычных капризов. Дождлся.

– Невкусно, – говорит он.

– Что поделать, Крис.

– Я *ничего* не хочу. Мне вообще здесь не нравится.

– *Сам* же придумал, – напоминает ему Сильвия. – Ты же хотел палатки ставить.

Лучше б она этого не говорила, но откуда ж ей знать? Заглатываешь его приманку, а он подбрасывает еще одну, потом еще и еще, пока, наконец, его не стукнешь, а на это он и напрашивался.

– Мне наплевать, – говорит он.

– И очень зря, – отвечает она.

– А все равно.

Близится взрыв. Сильвия и Джон смотрят на меня, но я сижу с каменным лицом. Очень жаль, что так получилось, но сейчас ничего поделать не могу. Любые споры только все усугубят.

– Я не хочу есть, – говорит Крис.

Никто не отвечает.

– У меня болит живот, – говорит он.

Взрыва не будет: Крис поворачивается и уходит в темноту.

Доедаем. Помогаю Сильвии вымыть посуду, а потом садимся ненадолго у костра. Фары выключаем, чтоб не сажать аккумуляторы – ну и все равно это не свет, а уродство. Ветер поутих, и костер слабо светит. Немного погода глаза привыкают. Еда и злость несколько сняли сонливость. Крис не возвращается.

– Не думаешь, что так он тебя просто *наказывает*? – спрашивает Сильвия.

– Думаю, – отвечаю я, – хотя дело не в этом. – Немного поразмыслив, добавляю: – Это термин из детской психологии, а такой контекст мне не нравится. Давай лучше просто скажем, что он – отпетый мерзавец.

Джон посмеивается.

– Ладно, – говорю я, – хороший был ужин. Вы уж меня за сына извините.

– Да все в порядке, – отвечает Джон. – Только жалко, что он ничего не поест.

– Ему хуже не станет.

– Не боишься, что он заблудится?

– Нет, тогда он начнет орать.

Криса нет, делать нам нечего, и тут в меня проникает окружающее пространство. Нигде ни звука. Одинокая прерия.

Сильвия говорит:

– А у него, по-твоему, правда болит живот?

– Да, – несколько догматично отвечаю я. Скверно, что тема не заглохла, но они заслуживают объяснения получше. Вероятно, чувствуют: здесь кроется больше, чем сказано. – Уверен, что болит, – наконец произношу я. – Его уже раз десять проверяли. Однажды было так плохо, мы думали, что аппендицит... Помню, мы поехали в отпуск на север. Я только закончил составлять конструкторское предложение на пятимиллионный контракт – оно меня едва не прикончило. Там же совсем другой мир. Ни времени, ни терпения – и шесть сотен страниц информа-

ции, которые надо сдать за неделю кровь из носа. Я уже был почти готов убить трех разных людей – и вот мы решили, что лучше на некоторое время податься в леса... Уже не помню, куда именно мы приехали. Голова кругом шла от технических данных, а Крис просто криком кричал. До него дотронуться нельзя было, пока я наконец не сообразил, что надо быстро его хватать и везти в больницу. Где она была, я напрочь забыл, но у Криса там ничего не нашли.

– Ничего?

– Ничего. Но были и другие разы.

– И врачи так и не *понимают*? – спрашивает Сильвия.

– Весной поставили диагноз – симптомы душевной болезни, в зачатке.

– Что? – переспрашивает Джон.

Стемнело так, что не видно ни Сильвии, ни Джона, ни очертаний холмов. Хочется услышать хоть что-нибудь вдали, но ничего не слышу. Не знаю, что им ответить, поэтому не говорю ничего.

Если взглядеться, различишь звезды над головой, но из-за костра их разглядеть трудно. Ночь вокруг непроницаемая и густая. Сигарета дотлела до пальцев, и я ее гашу.

– А я и не знала, – произносит голос Сильвии. Все следы злости растаяли. – Мы все думали, почему ты взял с собой его, а не жену. Хорошо, что сказал.

Джон подталкивает головешки в костер. Сильвия спрашивает:

– Как ты думаешь, из-за чего это?

Джон резко выдыхает, словно бы одергивая ее, но я отвечаю:

– Не знаю. Причины и следствия тут, похоже, не применимы. Причины и следствия – результат мысли. А мне кажется, душевная болезнь наступает еще до мысли.

Для них в этом нет смысла, я уверен. И для меня-то смысла не очень много, а я слишком устал, не могу рассудить и потому бросаю, не договорив.

– А что думают психиатры? – спрашивает Джон.

– Ничего. Я все прекратил.

– Прекратил?

– Да.

– Так лучше?

– Не знаю. Рационально я не могу объяснить, почему так *не* лучше. Мой собственный рассудок не дает. Я об этом думаю – обо всех «за», планирую визиты к врачам и даже ищу номер телефона. А потом разум запирает – будто захлопнулась дверь.

– Здесь что-то не так.

– Вот-вот, все так считают. Меня, наверное, хватит ненадолго.

– Но *почему*? – спрашивает Сильвия.

– Не *знаю* я, почему... просто... Не знаю... Они ведь не *сокровенные*...

Удивительное слово, думаю я, никогда его раньше не употреблял. Не *сокровенные*... Звучит как-то по-крестьянски... не *одной крови*, не под одним кровом... корни похожи... здесь и сокровище, и родство, и откровенность... они не могут ему быть внутренне *близки* – они не *сокровники* ему... Вот как, точно, да.

Старое слово – такое древнее, что почти ушло на дно. Как же все переменялось в веках-то. Теперь любой может «писать кровью сердца». И предполагается, что каждый так умеет. Но тогда, давно, с этим потаенным сродством рождался – и без откровенности уже было никак. А теперь она обычно всего лишь панцирь – как у педагогов в первый день учебного года, они просто покровители. Но что о задушевной *откровенности* знают те, кто не *единокровники*?

В мыслях кружит и кружит... *mein Kind* – родное дитя, кровиночка, сокровище мое. Вот оно – на другом языке. *Mein Kinder...* *Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind*⁵.

От этого странность.

– О чем ты думаешь? – спрашивает Сильвия.

– Об одном старом стихотворении. Гете. Ему уже лет двести, наверное. Мне его как-то пришлось выучить. Не знаю, чего вдруг я его сейчас вспомнил, вот только... – Странность возвращается.

– О чем оно? – спрашивает Сильвия.

Пытаюсь припомнить:

– Человек едет в бурю по берегу. Это отец, с ним – его сын, которого он крепко прижимает к себе. Он спрашивает сына, почему тот так побледнел, а сын отвечает: «Папа, разве ты не видишь призрака?» Отец пытается успокоить мальчика: мол, это всего лишь туман над водой да шелест листьев на ветру, но сын твердит, что это призрак, и отец скачет в ночи все быстрее.

– А чем заканчивается?

– Плохо... ребенок умирает. Призрак победил.

Ветер раздувает угли в костре, и я вижу, что Сильвия потрясенно смотрит на меня.

– Но то – другая страна и другое время, – говорю я. – Здесь же в конце – только жизнь, и призраки не имеют значения. Я в это верю. В это все я тоже верю, – продолжаю я, глядя в темную прерию, – хотя пока не уверен, что все это значит... Я в последнее время почти ни в чем не уверен. Может, поэтому так много болтаю.

Угли все тусклее. Курим по последней. Крис – где-то в темноте, но я не собираюсь бегать за ним по кустам. Джон старательно молчит, Сильвия тоже молчит, и вдруг все мы – порознь, одиноки в личных вселенных и никакой связи между нами нет. Мы заливаем огонь и возвращаемся в сосенки к спальным мешкам.

Обнаруживаю, что единственное наше убежище среди крохотных виргинских сосен, куда я положил спальники, – еще и приют от ветра для миллионов комаров с пруда. Репеллент не останавливает их вообще. Забираюсь поглубже в мешок, оставляю только дырочку для воздуха. Уже почти сплю, когда наконец появляется Крис.

– Там здоровая куча песка, – говорит он, хрустя ногами по хвое.

– Да, – отвечаю я. – Ложись спать.

– Ты бы видел. Завтра сходишь и посмотришь, ладно?

– У нас не будет времени.

– А утром можно там поиграть?

– Да.

Он никак не может раздеться и залезть в спальник. Наконец шорохи стихают. Затем начинает ворочаться. Потом все опять тихо, а потом опять ворочается. Окликает меня:

– Пап?

– Что?

– Как было, когда ты был маленьким?

– Да *спи* же, Крис! – Есть предел тому, что ты в силах выслушивать.

Слышу резкий всхлип – видимо, Крис плачет, – и не сплю, хоть и вымотан до предела. Несколько слов его бы утешили. Он старался. Но слова почему-то не приходят. Слова утешения – это больше для чужих, для больниц, не для единокровников. Такие эмоциональные пластырики – не для Криса, не они нужны... Не знаю, что нужно – ни ему, ни вообще.

⁵ Строки из баллады И. В. Гете «Лесной царь» (1782): «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? // Ездок запоздалый, с ним сын молодой». – Пер. В. А. Жуковского.

Из-за сосен медленно выплывает полная луна, и по ее медленной, терпеливой дуге через все небо я отмеряю свой полусон, за часом час. Слишком устал. И луна, и странные сны, и комариный зуд, и обрывки воспоминаний беспорядочно мешаются в нереальном утраченном пейзаже, где сияет луна и в то же время лежит туман, а я скачу на лошади, и Крис со мной, и лошадь перескакивает ручей, бегущий где-то по песку к океану. А потом все ломается... И возникает вновь.

И в тумане является подобие фигуры. Она исчезает, если смотреть на нее прямо, но потом я ее опять вижу краем глаза. Я хочу сказать что-то, позвать ее, узнать ее; но осекаюсь, понимая, что признать ее хоть жестом – значит дать ей реальность, которой у нее быть не должно. Однако фигуру я узнаю, хоть и не даю себе признаться в этом. Федр.

Злой дух. Очень злой и безумный. Из мира без жизни и без смерти.

Фигура тает, и я давлю в себе панику... крепко... не спеша... пусть проникнет глубже... ни веря в нее, ни не веря... но волосы встают дыбом у меня на затылке... зовет Криса, что ли?.. Да?..

6

На часах девять. И спать уже слишком жарко. За пределами спальника солнце высоко. Воздух вокруг чист и сух.

Поднимаюсь, разлепляю глаза, все тело после ночи на земле ломит.

Во рту пересохло, губы потрескались, а лицо и руки все в комариных укусах. Болит какой-то вчерашний солнечный ожог.

За соснами – выжженная трава, глыбы земли и песок; все так ярко, что глаза режет. Жара, тишина, голые холмы и пустое небо – какое-то огромное, напряженное пространство.

Ни капли влаги в небе. Сегодня будет пекло.

Выхожу из сосен на полосу голого песка среди кое-какой травы и долго смотрю, размышляю...

Я решил: с сегодняшнего шаткуа начну исследовать мир Федра. Раньше-то я намеревался просто изложить некоторые его взгляды на технику и человеческие ценности, а про него самого не упоминать, но вчера вечером мысли и воспоминания вывели меня на другую тропу. Умалчивать о нем сейчас значило бы сбегать от того, чего бежать не следует.

Крис рассказывал о бабушке своего друга-индейца, а едва забрезжило серое утро, я вспомнил и мне кое-что стало ясно. Бабушка говорила, что призраки являются, если кого-то неправильно похоронили. Так и есть. Его не *похоронили* правильно, вот в чем загвоздка.

Немного погодя оборачиваюсь и вижу: Джон уже встал и недоуменно глядит на меня. Еще толком не проснулся, бродит кругами, чтобы очухаться. Сильвия вскоре тоже поднимается, а левый глаз у нее заплыл. Спрашиваю, что случилось. Комары искусили, говорит. Укладываю пожитки на мотоцикл. Джон тоже.

Когда все упаковано, разводим костер, а Сильвия разворачивает бекон, яйца и хлеб на завтрак.

Еда готова, и я иду будить Криса. Вставать он не хочет. Бужу еще. Отказывается. Хватаю низ спальника, мощно дергаю, как скатерть со стола, и Крис, хлопая глазами, вываливается прямо на хвою. Не сразу соображает, что произошло, а я пока сворачиваю спальник.

С оскорбленным видом он приходит завтракать, откусывает разок, говорит, что не голоден и у него болит живот. Показываю на озерцо под нами – странность посреди полупустыни, – но он не проявляет интереса. Только на живот опять жалуется. Пропускаю мимо ушей, Джон и Сильвия тоже не обращают внимания. Я рад, что они теперь знают про Криса. Иначе возникли бы трения.

Молча доедаем, и я, странное дело, умиротворен. Может, оттого, что решил, как поступить с Федром. Но дело, возможно, еще и в том, что футах в ста под нами озеро – смотрим поверх него в некие западные дали. Голые холмы, нигде ни души, ни звука. Что-то воодушевляет в таких местах и наводит на мысль: все, наверное, образуется.

Загружая остаток вещей на багажную раму, с удивлением замечаю, что задняя шина сильно изношена. Должно быть, сказались и скорость, и тяжелая поклажа, и вчерашняя жара на дороге. Цепь тоже провисает, достаю инструменты отрегулировать ее – и тяжело вздыхаю.

– Что случилось? – спрашивает Джон.

– В регуляторе цепи резьбу сорвало.

Вытаскиваю регулирующий винт и осматриваю нарезку:

– Сам виноват – сорвал, когда пытался подтянуть, не ослабив осевой гайки. А болт еще хороший. – Показываю. – Видимо, внутренняя резьба в раме сорвана.

Джон долго глядит на колесо.

– До города доедешь?

– Ну еще бы. Целую вечность продержится. Просто цепь будет трудно подтягивать.

Он внимательно смотрит, как я выбираю гайку задней оси, но пока не туго, подстукиваю ее молотком в сторону, чтобы цепь натянулась, потом затягиваю гайку изо всех сил, а то ось потом соскользнет вперед, и ставлю шплинт на место. В отличие от осевых гаек автомобиля, здесь это не влияет на тугую посадку подшипника.

– Как ты всему этому научился? – спрашивает Джон.

– Своим умом дошел.

– Я бы не знал, с чего начать.

Я думаю: да уж, всем проблемам проблема – с чего начать? Чтоб доехать до Джона, надо сдавать все дальше и дальше назад, и чем больше сдаешь, тем яснее видно, что осталось еще больше. Поначалу кажется пустячной проблемой понимания, а потом оборачивается огромным философским исследованием. Оттого, наверное, и шатокуа.

Пакую инструменты, закрываю боковые крышки и думаю: но до него доехать стоит.

Опять выезжаем, и воздух на дороге сушит испарину от этих цепных дел; некоторое время мне хорошо. Но когда пот опять высыхает, становится жарко. Уже, наверно, за восемьдесят.

По этой дороге никто не ездит, и движемся неплохо. В такой день хорошо путешествовать.

Обещанное я начну с того, что жил один человек. Больше его нет, но тогда ему было что сказать, и он это сказал, но ему никто не поверил или его по-настоящему не поняли. Забыли. Причины станут ясны позже, но я бы предпочел, чтоб о нем и не вспоминали, однако выбора нет, придется вновь открыть его дело.

Я не знаю его истории полностью. И никто никогда ее не узнает – только сам Федр, а он больше не говорит. Но по его записям, по чужим рассказам, по обрывкам моих же воспоминаний должно сложиться некое подобие того, о чем он говорил. Поскольку основные идеи для этого шатокуа были заимствованы у него, мы особо ничего не искадим – только расширим, и шатокуа станет понятнее, чем если излагать абстрактно. Цель расширения – не агитировать за Федра и, уж конечно, не превозносить его. Цель – похоронить его. Навсегда.

Когда мы в Миннесоте ехали по болотам, я упоминал о «формах» техники, о «силе смерти», от которой, похоже, бегут Сазерленды. Теперь я хочу двинуться прочь от Сазерлендов, *навстречу* этой силе – и в самое ее ядро. Так мы вступим в мир Федра – единственный мир, который он знал, где все понимание происходит через внутреннюю форму.

Мир внутренней формы обсуждать непривычно, поскольку сам он по сути – *способ* обсуждения. Ведь предмет описываешь по внешнему виду либо по внутренней форме, и когда пытаешься описать сами эти способы описания, возникает, можно сказать, базовая проблема. Нет базы, с которой можно их описывать, кроме самих этих способов.

Прежде я описывал его мир внутренней формы – или хотя бы один его аспект, называемый техникой, – лишь с внешней точки зрения. Теперь, по-моему, правильнее будет говорить об этом мире внутренней формы с точки зрения самого этого мира. Я хочу говорить о внутренней форме самого мира внутренней формы.

Для этого сперва необходимо противопоставление, но прежде, чем я смогу честно что-то противопоставлять, надо сдать назад и пояснить, чем оно, это противопоставление, является и что означает. А это само по себе долгая история. С задним ходом всегда так. Но вот сейчас я просто хочу противопоставить, а объяснять буду потом. Разделим человеческое понимание на два вида – классическое и романтическое. К истинному пониманию эта дихотомия вряд ли приблизит, но она вполне законна в рамках классического способа, которым открывают или создают мир внутренней формы. Федр употреблял понятия *классический* и *романтический* в таком смысле.

Классическое понимание видит внутреннюю форму мира. Романтическое – его непосредственный внешний вид. Если показать машину, механический чертеж или электронную схему романтику, вероятнее всего, он не увидит в них ничего особо интересного. Они его не притягивают, поскольку он видит реальность одной поверхности. Скучные сложные списки названий, линии и цифры. Что тут занимательного? Но если показать тот же чертеж или схему, дать то же описание человеку классическому, он взглянет на него и проникнется его очарованием, поскольку увидит в линиях, формах и символах потрясающее богатство внутренней формы.

Романтический способ прежде всего вдохновляет, будит воображение, творчество, интуицию. В нем скорее доминируют чувства, а не факты. «Искусство», противопоставленное «Науке», зачастую романтично. Романтический способ не подчиняется разуму или законам. Он подчиняется чувству, интуиции и эстетическому сознанию. В культурах Северной Европы романтический способ обычно ассоциируют с женским началом, но это, конечно, не обязательно.

Классический способ, напротив, управляется разумом и законами, которые сами по себе – внутренние формы мышления и поведения. В европейских культурах это главным образом мужской способ, и сферы науки, юриспруденции и медицины, как правило, не привлекают женщин именно поэтому. Езда на мотоцикле романтична, а уход за мотоциклом чисто классичен. Грязь, смазка, требуемое владение внутренней формой – все это сообщает ему столь отрицательное романтическое влечение, что женщины и близко к нему не подходят.

Хотя в классическом способе понимания часто обнаруживается поверхностное безобразие, внутренне оно этому способу отнюдь не присуще. Есть и классическая эстетика, которую романтики часто не замечают, уж очень она тонкая. Классический стиль прямолинеен, неприкрашен, неэмоционален, экономичен и строго пропорционален. Цель его – не вдохновлять эмоционально, а из хаоса извлекать порядок и неизвестное делать известным. Он не лишен эстетики вовсе, не естественен. Он эстетически сдержан. Все под контролем. Его ценность измеряется умением поддерживать этот контроль.

Романтику классический способ часто кажется скучным, неуклюжим и безобразным – как само техобслуживание. Сплошь детали, части, компоненты и пропорции. Ничего не вычисляется, пока десять раз не пропустишь через компьютер. Все надо измерять и доказывать. Подавляет. Тяжко. Бесконечно серо. Сила смерти.

Тем не менее, на классический взгляд, и у романтика имеется портрет. Романтик фриволен, иррационален, рассеян, ненадежен, главное для него – удовольствия. Он мелок. Нет ничего за душой. Зачастую – паразит, не способный или не желающий ничего делать сам. Настоящий тормоз общества. Что – знакомые боевые позиции?

Тут-то собака и зарыта. Люди склонны думать и чувствовать лишь в одном режиме, а посему неверно понимают и недооценивают суть другого способа. Но никто не желает отказываться от собственного видения истины и, насколько мне известно, никто из ныне здравствующих не смог по-настоящему примирить эти два способа или же истины. Нет такой точки, где бы эти видения реальности сошлись.

Вот поэтому в последнее время мы видим, как образуется громадный разлом между классической культурой и романтической контркультурой: два мира все более отчуждаются, наполняются ненавистью друг к другу; а все в это время недоумевают: всегда ли дом будет разделен сам в себе⁶? Ведь на самом деле никто разлома не хочет, что бы там ни думали противники в другом измерении.

В этом контексте и важны мысли и слова Федра. Но в то время *никто* его не слушал: сперва считали, что он просто эксцентрик, затем – нежелательный элемент, затем – слегка повернутый, а потом решили, что он поистине спятил. Теперь никто, пожалуй, и не сомнева-

⁶ Мар. 3:25, Лук. 11:17.

ется, что он был безумен, но по его тогдашним записям понятно, что эта враждебность и сводила его с ума. Необычное поведение отчуждает людей, а это, в свою очередь, усугубляет необычное поведение, ведущее к отчужденности, и так далее, круги подпитывают сами себя, пока не доходит до какой-то кульминации. У Федра все закончилось полицейским арестом по распоряжению суда и постоянной изоляцией от общества.

Вижу слева поворот на шоссе 12, и Джон съезжает с дороги заправиться. Останавливаюсь возле.

Термометр у дверей заправки показывает 92 градуса.

– Сегодня опять будет круто, – говорю я.

Когда баки наполнены, идем к ресторану через дорогу выпить кофе. Крис, конечно, проголодался.

Я говорю ему, что так и думал. Либо он ест со всеми вместе, либо не ест вообще. Не сердито говорю. Обыденно. Смотрит с упреком, но понимает, что так оно и будет.

Мимоходом замечаю, что Сильвия смотрит с облегчением. Очевидно, боялась, что дело затянется.

Мы допиваем и опять выходим наружу, а там жара такая яростная, что мы как можно быстрее заводимся и отваливаем. Снова миг прохлады, но он быстро заканчивается. Выгоревшая трава и песок от солнца ярки – надо щуриться, чтобы глаза так не резало. Это шоссе 12 – старое и плохое. Разбитый бетон весь в пятнах мазута и буграх. Дорожные знаки предупреждают, что впереди объезды. По обочинам изредка встречаются ветхие сараи, хижины и придорожные ларьки – они копились тут годами. Сейчас здесь ездят много. Вполне можно подумать о рациональном, аналитическом, классическом мире Федра.

С античных времен его тип рациональности отдалял человека от скуки и депрессии того, что вокруг. Сейчас трудно поверить, что раньше с ее помощью бежали от всего, – так хорошо получилось, что сама эта рациональность стала «всею тем», от чего нынче бегают романтики. Мир Федра так трудно разглядеть не потому, что он странен, а потому, что обычен. Знакомость тоже может ослеплять.

Когда он смотрит на предмет, рождается описание, которое можно назвать «аналитическим». Та же классическая база, разговор через внутреннюю форму. Федр был донельзя классическим человеком. А чтобы описать полнее, я хочу аналитически подойти к его подходу – проанализировать анализ. И начать с обширного примера, а уж потом рассекать на составляющие. Удачный пример – мотоцикл, поскольку мотоцикл изобрели классические умы. Значит, так.

В классическом рациональном анализе мотоцикл делится по составным агрегатам и по функциям.

Если по составным агрегатам, основное деление – на силовой агрегат и ходовую часть.

Силовой агрегат делится на двигатель и механизм передачи вращения. Сначала возьмем двигатель.

Двигатель состоит из картера, содержащего коробку передач, топливно-воздушную систему, систему зажигания, тормозное устройство и систему смазки.

Передача состоит из цилиндров, поршней, шатунов, коленчатого вала и маховика.

Компоненты воздушно-топливной системы – части двигателя – включают бензобак с фильтром, воздушный фильтр, карбюратор, клапаны и выхлопные трубы.

Система зажигания состоит из генератора переменного тока, выпрямителя, батареи, высоковольтной обмотки и запальных свечей.

Тормозное устройство состоит из цепи распределительного вала, самого распредвала, толкателей и распределителя.

Система смазки состоит из масляного насоса и каналов для распределения масла, проходящих через картер.

Механизм передачи вращения, сопутствующий двигателю, состоит из сцепления, трансмиссии и цепи.

Несущая конструкция, сопутствующая силовому агрегату, состоит из рамы, включая подставки для ног, сиденье и брызговики; рулевого управления; переднего и заднего амортизаторов; колес; рычагов управления и кабелей; фонарей и звукового сигнала; спидометра и одометра.

Это – мотоцикл, разделенный по компонентам. Чтобы знать, для чего предназначены компоненты, необходимо разделение по функциям.

Мотоцикл делится на обычные двигательные функции и особые функции, контролируемые водителем.

Обычные двигательные функции подразделяются на функции цикла впуска, сжатия, рабочего хода и выхлопа.

И прочая. Можно и дальше перечислять, какие функции идут за какими в каком порядке в каждом цикле, потом перейти к функциям, контролируемым водителем, и у нас получится очень общее описание внутренней формы мотоцикла. Оно будет крайне коротким и рудиментарным – как и все такие описания. Почти о любом упомянутом компоненте можно распространяться до бесконечности. Я прочел целый технический том по одним контактам – простой, маленькой, но жизненно важной детали распределителя. Существуют и другие типы двигателя – не одноцилиндровые двигатели Отто, описанные выше: двухтактные, многоцилиндровые, дизельные, двигатели Ванкеля, – но нам хватит и этого примера.

Такое описание охватывает «что» мотоцикла через его компоненты и «как» двигателя через функции. Ему еще очень понадобится анализ «где» – в виде иллюстраций, – а также анализ «почему» в виде технических принципов, которые привели к данной совокупности деталей. Но цель наша – отнюдь не утомительный анализ мотоцикла. Цель – дать начальную точку, такой способ понимания, который сам станет объектом анализа.

Конечно же, на первый взгляд в этом описании нет ничего странного. Похоже на вводный курс или первый урок профобразования. Необычное начинает проглядывать, когда описание перестает быть способом дискурса и становится объектом дискурса. Тут-то есть во что ткнуть пальцем.

Первое замечание настолько очевидно, что его лучше придержать, а не то утопит остальные наблюдения. Вот оно: да это скучнее стоячей воды в канаве. Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу, карбюратор, передаточное число, сжатие, бу-бу-бу-бу, поршень, свечи, впуск, бу-бу, бу, дальше, дальше и дальше. Таков романтический лик классического способа. Скучно, неуклюже и безобразно. Сквозь него продираются очень немногие романтики.

Но если придержать это самое очевидное наблюдение, замечаешь и кое-что еще – сначала этого не видно.

Во-первых, мотоцикл, описанный так, почти невозможно понять, если не знаешь, как он работает. Пропали поверхностные впечатления, жизненно необходимые для первичного понимания. Осталась лишь внутренняя форма.

Во-вторых, нет наблюдателя. В описании не сказано: чтобы увидеть поршень, надо снять головку цилиндра. В этой картинке нигде нет «тебя». Даже «водитель» здесь – какой-то безликий робот, который совершенно механически выполняет функции. В описании нет субъектов. Только объекты, независимые от наблюдателя.

В-третьих, отсутствуют слова «хорошо», «плохо» и любые их синонимы. Никаких оценочных суждений, одни факты.

В-четвертых, здесь работает нож. Причем смертоносный – интеллектуальный скальпель, столь острый и быстрый, что иногда незаметно, как он движется. Создается иллюзия, будто все эти детали просто есть, их просто называют. Однако назвать их можно иначе, да и расположить по-другому – смотря как нож пойдет.

Например, тормозное устройство: распредвал, цепь распредвала, толкатели и распределитель, – существует лишь потому, что этим аналитическим ножом проведен необычный разрез. Если придешь в отдел запчастей для мотоцикла и спросишь у них «тормозной механизм», тебя вообще не поймут. Как таковое они его не вычленяют. Все производители дробят его по-своему, нет двух похожих, и каждый механик знаком с этой проблемой: не можешь купить запчасть потому, что ее невозможно найти – производитель считает ее деталью совсем другого узла.

Важно видеть этот нож, каков он есть, а не доверчиво полагать, будто мотоциклы или что угодно таковы лишь потому, что ножу вздумалось так их покромсать. Важно сосредоточиться на самом ноже. Потом я еще покажу, как умение творчески и эффективно работать этим ножом решает проблемы раскола классического и романтического.

Федр владел ножом мастерски, кромсал ловко и мощно. Одним ударом аналитической мысли рассекал целый мир на части как хотел, затем рассекал части и фрагменты частей, все тоньше, тоньше и тоньше – пока не уменьшал мир до желаемого размера. Даже особое употребление понятий «классического» и «романтического» – пример его мастерского владения ножом.

Если б дело было только в его аналитическом мастерстве, я бы немедленно заткнулся. Но Федр употребил это мастерство неподражаемо, однако так значимо, что очень важно не затыкаться. Никто не понимал – я даже думаю, что не понимал и он сам. Может, это моя личная иллюзия, только нож его был, по-моему, скорее скальпелем хирурга-коновала, чем кинжалом наемного убийцы. А может, разницы нет. Но он увидел нечто гадкое, болезненное и стал резать глубоко – все глубже и глубже, лишь бы добраться до корня. Он что-то искал. Вот что важно. Он что-то искал и за нож взялся потому, что другого инструмента у него не было. Но Федр взвалил на себя так много и в итоге зашел так далеко, что пал собственной жертвой.

7

Жара уже повсюду. Не отмахнешься. Воздух раскален, как муфельная печь, и глазам под очками прохладнее, чем остальному лицу. Рукам тоже прохладно, но на перчатках проступают темные пятна пота с белыми ободками подсохшей соли.

Впереди на дороге ворона клюет какую-то падаль и медленно взлетает, когда подъезжаем. Кажется, на асфальте валяется ящерица – высохла и прилипла.

На горизонте появляются очертания зданий, они слегка мерцают. Сверяюсь с картой: должно быть, Боумен. Воды б со льдом да кондиционер.

Почти никого не встречаем на улицах Боумена, хотя стоит много машин – значит, все дома. Внутри. Въезжаем на изогнутую углом стоянку и резко разворачиваемся, чтобы без помех выехать обратно, когда соберемся. Одинокая пожилая личность в широкополой шляпе наблюдает, как мы ставим мотоциклы на подпорки, снимаем шлемы и очки.

– Не жарко? – спрашивает он. На его лице ничего не написано.

Джон качает головой:

– Бож-же!

Лицо под шляпой вроде как щерится.

– А сколько сегодня? – спрашивает Джон.

– Сто два, – отвечает тот, – когда смотрел последний раз. Должно до ста четырех дойти. Спрашивает, сколько мы проехали, сообщаем, и он как-то одобрительно кивает:

– Много.

Потом заводит речь про машины.

Нас манят пиво и кондиционер, но пожилую личность мы не обламываем. Стоим на сто-двухградусной жаре и с ним беседуем. Старик – скотовод, на пенсии, говорит, что в округе много пастбищ, а много лет назад у него был мотоцикл марки «хендерсон». Мне нравится, что ему обязательно хочется рассказать про этот «хендерсон» в сто-двухградусном пекле. Еще немного с ним беседуем, нетерпение Джона, Сильвии и Криса растет, а когда наконец прощаемся, старик говорит, что рад был познакомиться, и хотя лицо его по-прежнему ничего не выражает, ясно, что он сказал правду. Уходит прочь с неким медлительным достоинством в эту сто-двухградусную жару.

В ресторане пытаюсь что-то про него сказать, но никому не интересно. Джон и Сильвия, похоже, совсем ошалели. Просто сидят и впитывают кондиционированный воздух, вообще не шевелятся. Подходит официантка, и они чуточку встряхиваются, но заказывать не готовы, и она опять уходит.

– По-моему, я не хочу никуда отсюда уезжать, – произносит Сильвия.

Перед глазами снова встает человек в широкополой шляпе. Я говорю:

– Подумайте, каково здесь было до кондиционеров.

– Я об этом и думаю, – отвечает она.

– По таким раскаленным дорогам с лысой резиной на заднем колесе больше шестидесяти нельзя.

Никакой реакции.

А вот с Криса, похоже, как с гуся вода: он начеку и за всем наблюдает. Приносят еду, он считает все и, не успеваем мы осилить и половины, просит добавки. Ему приносят, и теперь ждем, пока доест он.

Много миль спустя жара такая же зверская. Ярко так, что ни мотоциклетные, ни темные очки не спасают. Тут нужен щиток сварщика.

Высокие равнины ломаются на линиялые, изрезанные холмы. На всем – яркий белесый налет. Ни травинки. Лишь стебли сорняков кое-где, камни, песок. На черную дорогу смотришь

с облегчением, и я не свожу с нее глаз – она мелькает под ногой. Рядом левый выхлоп: труба аж поголубела, такого оттенка раньше не было. Плюю на кончики пальцев в перчатке, трогаю – слюна шипит. Нехорошо.

Теперь важно просто сжиться с этим, а не мысленно сражаться... контроль разумом...

Пора поговорить о ноже Федра. Может, станет понятнее то, о чем было выше.

Каждый применяет этот нож, делит мир на части и строит такое здание. Мы все время сознаем миллионы вещей вокруг: эти летящие силуэты, эти пылающие холмы, звук двигателя, полный газ, каждый камешек, сорняк, столб забора и куча мусора у дороги – мы сознаем все это, но не очень-то осознанно, если не замечаем ничего необычного или если все это не отражает того, что мы уже предрасположены в нем увидеть. Невозможно ко всему относиться осознанно и все запоминать, потому что иначе ум так переполнится бесполезными деталями, что мы просто не сможем мыслить. Из этого сознания мы обязаны выбирать, и нами выбранное уже называется осознанием – оно никогда не равно сознанию, поскольку в процессе выбора мутирует. Зачерпываем горсть песка из бескрайнего ландшафта сознания и называем эту горсть песка миром.

Как только нам достается эта горсть песка – мир, который мы осознаем, – ее начинает обрабатывать разделение. Это и есть нож. Мы делим песок на части. Это и то. Здесь и там. Черное и белое. Теперь и тогда. Различение – это деление осознанной вселенной на части.

Горсть песка вначале выглядит однородной, но чем дольше мы вглядываемся, тем она разнообразнее. Все песчинки различны. Двух одинаковых нет. Одни схожи так, другие иначе, и мы можем разложить песок на кучки по сходствам и различиям. По оттенкам – по размерам – по форме – по подвидам форм – по степени прозрачности – и так далее, дальше и дальше. Казалось бы, процесс подразделения и классификации где-нибудь подойдет к концу, но он не приходит. Он только длится.

Классическое понимание занимается кучками песка, основанием для их сортировки и взаимоотношениями между ними. Романтическое направлено на горсть песка до начала сортировки. Оба они – правомерные взгляды на мир, хотя друг с другом непримиримы.

А насущно такое мировоззрение, которое не калечило бы ни того, ни другого понимания, а объединяло бы их. Такое единое понимание не станет отрицать *ни* сортировки песка, *ни* созерцания нерассортированного. Напротив, такое понимание обратится ко всему бескрайнему пейзажу, из которого взят песок. Как раз это и пытался делать Федр, бедный хирург.

Чтобы это понять, необходимо в самом пейзаже увидеть фигуру, которая раскладывает песок на кучки, понять, что она – *часть* пейзажа, *неотделимая* от него и *требующая* понимания. Видеть пейзаж, не замечая фигуры, – не видеть пейзажа вообще. Отрицать ту ипостась Будды, что анализирует мотоциклы, – вообще не замечать Будду.

Есть такой непреходящий классический вопрос: какая деталь мотоцикла, какая крупинка песка в какой кучке и есть Будда? Очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть не туда, ибо Будда – везде. Но столь же очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть именно *туда*, ибо Будда – везде. Много уже говорилось о том, что Будда существует независимо от любой аналитической мысли; некоторые решили бы, даже *слишком* много, им сомнительны попытки что-либо к этому добавить. Но практически ничего не говорилось о том, что Будда существует в *самой* аналитической мысли и *задает ей направление*; умолчанию этому есть свои исторические причины. Однако история длится дальше, и, наверное, не будет вреда – а может, будет и позитивное добро, – если прибавить к нашему историческому наследию чутков разговоров в этой дискурсивной сфере.

Когда аналитическая мысль – нож – применяется к опыту, что-то обязательно умерщвляется. Это всем относительно ясно – по крайней мере в искусствах. Вспомним Марка Твена: едва он овладел аналитическим знанием, необходимым для проводки судов по Миссисипи, река

утратила свое очарование. Что-то *всегда* гибнет. Но гораздо меньше в искусствах заметно другое: нечто еще и всегда создается. Не стоит заикливаться на смерти – гораздо важнее видеть рождение и рассматривать всю непрерывность жизни-смерти, которая ни хороша, ни плоха – она просто *есть*.

Проезжаем городок под названием Мармарт, но Джон не останавливается даже на перекур, и мы едем дальше. Опять жара, как в печке, какие-то изрытые пустоши – и вот уже пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит щит у дороги.

Сильвия машет руками, и я в ответ жму на клаксон, однако на щит гляжу без радости. Надпись вдруг напрягает меня внутри – с Сазерлендами такого быть не может. Откуда им знать, что мы сейчас там, где жил он.

Пока вся эта болтовня о классическом и романтическом понимании в описании самого Федра наверняка похожа на некий странный объезд, но к сути ведет лишь этот окольный путь. Описывать физическую внешность Федра или его биографические данные – скользить поверх, это заведет нас не туда. Идти же к нему напрямик – только навлечь беду.

Он был безумен. А когда смотришь на безумца прямо, видишь лишь отражение собственного знания того, что он безумен; человека не видишь вообще. Чтобы его увидеть, надо видеть то, что видел он, а в охоте на видение безумца самое действенное – объезд. Иначе дорогу перекрывают твои собственные мнения. К Федру есть только один проход, и нам еще ехать и ехать.

Я погрузился во все эти анализы, определения и иерархии не просто так, а чтобы заложить фундамент понимания того, куда шел Федр.

Тогда ночью я сказал Крису, что Федр всю жизнь гнался за призраком. Так оно и было. Призрак, за которым он гнался, – внутренний призрак всей техники, всей современной науки, всего западного мышления. Призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что когда Федр его нашел – хорошенько отдубасил. Говоря фигурально, это правда. Федр при этом нечто открыл, и я надеюсь извлечь это на свет, пока мы едем. Теперь такие времена, что, может, еще кому пригодится. А тогда никто не желал замечать призрака, за которым гнался Федр, но сейчас, мне кажется, его видит все больше и больше народу, либо же он мелькает в скверные моменты. Этот призрак называет себя рациональностью, однако снаружи он бессвязен и бессмыслен, и даже самые нормальные повседневные поступки выглядят чуточку ненормальными, поскольку ни с чем не соразмерны. Это призрак нормальных повседневных допущений – он объявляет, что конечная цель жизни, оставаться живым, недостижима, однако не перестает быть конечной целью жизни. Великие умы сражаются с болезнями, чтобы люди жили дольше, и только безумцы спрашивают: на фиг? Дольше живут для того, чтобы жить дольше. Другой цели нет. Так говорит призрак.

* * *

В Бейкере останавливаемся, термометры показывают 108 в тени. Снимаю перчатки – бензобак так раскален, что не дотронуться. Двигатель зловеще потрескивает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина тоже сильно стерлась, и я, приложив ладонь, чувствую, что она горячая, как бензобак.

– Придется ехать медленнее, – говорю я.

– Что?

– Думаю, не следует выжимать больше пятидесяти.

Джон смотрит на Сильвию, а та на него. Между собой они уже явно обсудили мою медлительность. Похоже, еще немного – и с обоих хватит.

– Побыстрей бы доехать, – высказывается Джон, и они идут к ресторану.

Цепь тоже раскалилась и пересохла. В правой седельной сумке нашариваю баллончик со смазкой, завожу двигатель и брызгаю на движущуюся цепь. Она еще не остыла, и раствор

испаряется почти мгновенно. Выпускаю струйку масла, пусть двигатель немного поработает, затем выключаю. Крис терпеливо ждет, а потом идет за мной в ресторан.

– По-моему, ты говорил, что большой упадок наступит на второй день, – говорит Сильвия, когда мы подходим к кабинке, где они с Джоном уже расположились.

– На второй или на третий, – отвечаю я.

– Или на четвертый и пятый?

– Может быть.

Они с Джоном снова переглядываются с тем же видом. Кажется, это значит: «Третий лишний». Может, хотят поехать быстрее и дожидаться меня в каком-нибудь городке впереди. Сам бы предложил, но если они поедут сильно быстрее, ждать меня в городке им не придется. Ждать меня они будут в кювете.

– Не знаю, как местные это терпят, – говорит Сильвия.

– Здесь трудно, знаешь ли, – отвечаю я с некоторым раздражением. – Они знают, что здесь трудно, еще не приехав сюда, и они к этому готовы... Если кто-то жалуется, – прибавляю я, – остальным становится еще труднее. У них есть *стойкость*. Они умеют не останавливаться.

Джон и Сильвия не очень разговорчивы; Джон быстро допивает кока-колу и отходит к бару за рюмашкой. Выхожу и снова проверяю багаж: при последней упаковке вещи немного ужались, и я выбираю слабинку и все перевязываю снова.

Крис показывает нам термометр на солнце, и мы видим, что столбик зашел далеко – за 120.

Еще не выехали из города, а я уже опять взмок. На ветру высыхаю меньше чем за полминуты.

Жара припечатывает. Даже в темных очках надо щуриться. Вокруг лишь пылающий песок и бледное небо – такое яркое, что трудно смотреть. Все раскалилось добела. Преисподняя.

Джон разгоняется впереди все быстрее. Ладно, черт с ним – я сбрасываю скорость до 55. Если не хочешь в такую жару неприятностей, не станешь терзать покрышки на 85. Лопнет на таком участке шина – и кранты.

Видать, они решили, что я дал им отповедь, но я и не собирался. Мне в такую жару ничем не лучше, но залипать не имеет смысла. Весь день, пока я вспоминал и говорил о Федре, они, должно быть, думали о том, как все плохо. Вот что их изнашивает. Мысль.

О Федре как личности тоже есть что сказать.

Знаток логики, классической «системы систем», описывающей правила и процедуры систематического мышления, которым структурируется и взаимоувязывается аналитическое знание. Федр был в этом так спор, что его коэффициент интеллекта Стэнфорда – Бине – по сути, запись навыков аналитической манипуляции – доходил до 170, а такой показатель встречается у одного из пятидесяти тысяч.

Федр был систематичен, но утверждать, будто он думал и действовал, как машина, – это неверно понимать природу его мысли. Не поршни, колеса и шестерни, что движутся одновременно, массивно и согласованно. Скорее – лазерный луч, одинокая игла света столь ужасающей энергии и столь концентрированный, что направишь его на Луну – и он отразится на Землю. Своей яркостью Федр не пытался ничего освещать. Он выискивал конкретную далекую мишень, целился в нее и попадал. Все. Освещать эту пораженную мишень досталось мне.

Одинок он был так же, как и умен. Нет данных о том, что у него были близкие друзья. Он путешествовал один. Всегда. Даже в обществе он был совершенно один. Иногда люди это чувствовали, их это отталкивало, и они Федре не любили, однако их неприязнь была ему безразлична.

Больше всего, пожалуй, страдали жена и семья. Жена утверждает, что, если кто-то пытался проникнуть за барьеры его сдержанности, им открывалась пустота. По-моему, они тянулись к теплу, но он никогда не грел.

Никто его по-настоящему не знал. Очевидно, этого он и добивался, и ему удалось. Возможно, интеллект и породил одиночество. Или оно породило интеллект. Но они всегда шли бок о бок. Жуткая одинокая разумность.

Эти рассуждения тоже ни к чему не приводят: и они, и образ лазерного луча создают впечатление, будто Федр был абсолютно холоден и бесстрастен, а это не так. В погоне за тем, что я назвал призраком рациональности, он был фанатиком.

Сейчас особенно ярко всплывает один случай в горах: солнце уже полчаса как скрылось за вершиной, и в ранних сумерках деревья и даже скалы стали почти зачерненными тенями синего, серого и бурого. Федр сидел здесь без еды уже три дня. Еда закончилась, но он так глубоко задумался, у него начались такие видения, что уходить не хотелось. Дорога недалеко, он про нее знал и потому не спешил.

По тропе спускались сумерки, и он заметил какое-то движение – вроде собака подходит, крупная овчарка, но вероятнее – лайка. Что делать собаке в такой глуши в такой поздний час? Собак Федр не любил, но животное подходило так, словно предвидело его нелюбовь. Казалось, пес наблюдает за ним, *оценивает*. Федр долго и пристально смотрел ему в глаза – и вдруг вроде бы что-то в нем признал. А потом пес исчез.

Много позже Федр понял: то был лесной волк – и долго еще помнил об этой встрече. Думаю, потому, что увидел свое подобие.

Фотография являет физический образ, в котором время статично, а зеркало – физический образ, в котором время динамично, но, мне кажется, на горе Федр увидел совершенно иное: тот образ не был физическим и вовсе не существовал во времени. И однако это был образ – потому-то Федр и поймал себя на узнавании. Я все это помню так живо до сих пор, потому что опять видел этот образ вчера ночью – как лик самого Федра.

Подобно тому лесному волку на горе, в Федре была некая животная отвага. Федр шел своим путем, не заботясь о последствиях, – это его наплеватьство тогда часто ошеломяло людей, а рассказы о нем ошеломяют меня и сейчас. Он нечасто отклонялся влево или вправо. До этого я докопался. Но отвага его происходила вовсе не из идеалистического самопожертвования, а лишь из упорства его погони, и в этой отваге не было ничего благородного.

Думаю, он охотился за призраком рациональности потому, что хотел ему *отомстить*, – чувствовал, что это призрак его таким и сделал. Хотел освободиться от собственного образа. Хотел его уничтожить, поскольку призрак был тем, чем был он *сам*, а ему хотелось освободиться от уз собственной личности. Хоть и странным манером, этой свободы он добился.

Кажется, наверное, что эти воспоминания «не от мира сего», но самая запредельная их часть нам еще предстоит. Мои отношения с Федром. Раньше я их отодвигал и затемнял, однако рассказать нужно.

Я впервые обнаружил Федра много лет назад путем умозаключений из одной странной цепи событий. Как-то в пятницу я отправился на работу, перед выходными сделал довольно много, обрадовался и поехал на вечеринку, где разговаривал со всеми слишком долго и громко, а выпил *гораздо* больше, чем следовало. Потом ушел в заднюю комнату ненадолго прилечь.

Проснувшись, я увидел, что проспал всю ночь, потому что уже рассвело, и подумал: «Господи, я даже не знаю, как зовут хозяев». Неловко ведь будет. Комната не походила на ту, где я прилег, но когда я заходил, было темно, а я к тому же налился до помутнения рассудка.

Я встал и увидел, что на мне другая одежда. Не та, что вечером. Я вышел за дверь, но, к моему удивлению, снаружи оказались не комнаты, а длинный коридор.

Я шел по нему, и, по-моему, все на меня смотрели. Трижды незнакомые люди останавливали меня и спрашивали, как я себя чувствую. Полагая, что они имеют в виду мое вчерашнее состояние, я отвечал, что у меня даже нет похмелья. Один на это расхохотался было, но осекся.

В конце коридора я увидел стол, и вокруг него что-то происходило. Я сел поблизости, надеясь, что меня не заметят, а я тем временем разберусь, что к чему. Но подошла женщина в белом и спросила, знаю ли я, как ее зовут. Я прочел имя на большом значке, прицепленном к блузке. Женщина не заметила, как я читал, поразилась и поспешно отошла.

Вернулась она с мужчиной, и тот уставился на меня. Подсел и спросил, знаю ли я, как зовут его. Я ответил и сам удивился не меньше их.

– Для такого еще очень рано, – сказал он.

– Похоже на больницу, – сказал я.

Те кивнули.

– Как я сюда попал? – спросил я, думая о пьяной вечеринке. Мужчина не ответил, а женщина опустила взгляд. Почти ничего и не объяснили.

Больше недели я размышлял, наблюдал и в итоге сделал вывод: до моего пробуждения все было сном, а после – реальностью. Никаких различий меж ними нет, только громоздилось все больше новых событий, говоривших, казалось, против того пьяного происшествия. Всякие мелочи, например запертая дверь, а я, насколько помню, никогда не видел, что снаружи. И бумажка из наследственного суда, где утверждалось, что такой-то признан невменяемым. Это они про *меня*?

Наконец мне объяснили: «Теперь у вас новая личность». Но и это ничего не объясняло. Лишь сильнее озадачивало, поскольку никакой «старой» личности я за собой не помнил. Скажи они: «*Вы* теперь другая личность», – стало бы гораздо понятнее. Все вернулось бы на свои места. Они ошиблись, полагая, будто личностью можно владеть, как костюмом. Но что в человеке вообще есть, кроме личности? Немного костей и мяса. Быть может, набор юридических данных, но это, конечно, не человек. Кости, мясо и юридические данные – одежды личности, не наоборот.

Но кем была та *старая* личность, которую они знали и чьим продолжением считали меня?

Таков был первый намек на то, что много лет назад был какой-то Федр. Шли дни, недели и годы, и я узнавал о нем больше.

Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда – пропустили переменный ток высокого напряжения через доли его головного мозга. Сила тока около 800 миллиампер, продолжительность от 0,5 до 1,5 секунды – и так 28 раз, что составило процесс, технически известный как «электрошоковая терапия». Личность без остатка ликвидировали технически безупречным действием, и с тех пор начались наши с Федром отношения. Лично я его никогда не встречал. И никогда не встречаю.

Но все же странные пряди его памяти вдруг накладываются на эту дорогу и совпадают с ней – и со скалами в пустыне, и с добела раскаленным песком вокруг; происходит некое чудное слияние, и я знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Точно был. Наблюдая внезапные сращения взгляда, вспоминая странные обрывки мыслей, неведь откуда взявшихся, я похож на ясновидца, на медиума, что принимает послания из мира иного. Вот как оно все. Смотрю и собственными глазами – и его. Когда-то мои глаза принадлежали ему.

Эти ГЛАЗА! Вот в чем весь ужас. Руки в перчатках, на которые я сейчас смотрю, – они ведут мотоцикл по дороге, – когда-то были *его* руками! Понимаешь это – поймешь и подлинный страх. Страшно знать, что бежать некуда.

Въезжаем в неглубокое ущелье. Немного спустя возникает придорожная стоянка – я ее ждал. Пара скамеек, домик, зеленые деревца со шлангами, подведенными к основаниям стволов. Джон – господи ты боже мой – уже у другого выхода, готов ехать дальше.

Не обращаю внимания и останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, ставим машину на подпорку. От двигателя такой жар, будто загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит:

– Мы просто... вне себя!

Пожимаю плечами и шагаю к питьевому фонтанчику.

– Ты же нам о стойкости пел? – спрашивает Джон.

Гляжу на него – и *впрямь* сердится.

– Я боялся, что ты заслушаешься, – отвечаю я и отворачиваюсь. Пью воду – она щелочная и отдает мылом, но все равно пью.

Джон заходит в домик намочить рубашку. Проверяю уровень масла. Колпачок масляного фильтра так раскалился, что жжет пальцы даже сквозь перчатки. Много масла двигатель не потерял. Протектор задней шины стерся чуть больше, но еще послужит. Цепь натянута, но подсохла, и я на всякий пожарный лишний раз ее смазываю. Все важные болты затянуты.

Подходит Джон – с него капает – и говорит:

– Теперь ты поезжай вперед, а мы за тобой.

– Я быстро не поеду, – отвечаю я.

– Хорошо, – говорит он. – Все равно доберемся.

И вот я еду впереди, не торопимся. Дорога по ущелью не бежит гладко по той же равнине, как я рассчитывал, а забирает в гору. Сюрприз.

Вот она то немного петляет, то вообще ведет не туда, куда надо, то опять возвращается на нужный курс. Вскоре немного поднимается, потом – еще немного. Зигзагами движемся по каким-то щелям, но выезжаем вверх, с каждым поворотом – все выше и выше.

Появляются кустарники. Деревца. Дорога ведет все выше, в травы, затем – в огороженные луга.

Над головой возникает тучка. Может, дождь? Может. Лугам нужен дождь. А на этих – цветы. Странно, как все изменилось. По карте не скажешь. Воспоминания тоже вроде исчезли. Должно быть, Федр здесь не ездил. Но другой дороги нет. Странно. Продолжаем подъем.

Солнце подается к туче, которая уже расползлась до самого горизонта: там деревья, сосны и холодный ветер несет аромат хвои. Цветы на лугах волнуются от ветра, мотоцикл чуть крепится – и вдруг становится прохладно.

Смотрю на Криса, а он улыбается. Я тоже улыбаюсь.

И тут на дорогу рушится дождь – обалдеть, как пыль пахнет землей, которая ждала этого дождя слишком долго, и первые капли пятнают обочины.

Все так ново. И он так нужен, этот новый дождь. Одежда намокает, очки забрызганы, знобит, восхитительно. Туча выходит из-под солнца, сосновый лес и луга снова сияют, поблескивая там, где капельки ловят свет.

Высыхаем еще до перевала, но теперь прохладно; останавливаемся и глядим на огромную долину и реку внизу.

– Кажется, приехали, – произносит Джон.

Сильвия с Крисом уже бродят по лугу среди цветов, под соснами, за которыми виднеется дальний край долины – вдали и внизу.

Теперь я первооткрыватель, а подо мной – земля обетованная.

Часть 2

8

Около десяти утра, и я сижу возле мотоцикла на прохладной кромке тротуара в теничке за гостиницей, которую мы обнаружили в Майлз-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом в прачечной-автомате стирают всем белье. Джон где-то ищет козырек себе на шлем. Ему показалось, что он заметил такой в витрине мотомагазина вчера, когда въезжали в город. А я собираюсь немного подработать двигатель.

Сейчас мне хорошо. Приехали днем и сразу нацелились выспаться. Молодцы, что остановились. Мы так одурели от измождения, что сами не понимали, насколько вымотались. Когда Джон пытался зарегистрироваться, даже не смог вспомнить, как меня зовут. Девушка за стойкой поинтересовалась, не наши ли это «клевые сказочные мотоциклы» за окном, и мы оба так заржали, что она испугалась, не ляпнула ли чего лишнего. Но то был тупой смех от усталости. Бросить бы их просто на стоянке да прогуляться пешком для разнообразия.

И вымыться. В прекрасной старой ванне из эмалированного чугуна, что присела на львиных лапах посреди мраморного пола, дожидаясь нас. Вода была такой мягкой, что, казалось, я никогда не смою с себя мыло. Потом мы гуляли взад-вперед по центральным улицам, прямо как семья...

* * *

Я так часто регулировал машину, что это уже ритуал. Не надо раздумывать как. Главное – искать необычное. У двигателя появился шум, похожий на стук разболтанного толкателя, но, может, это и что похуже, – настроим и поглядим, исчезнет или нет. Толкатели надо подгонять в остывшем двигателе, а это значит, что где бы вечером ни оставил машину, там и придется работать наутро. Вот почему я сейчас сижу в тени на тротуаре за гостиницей в Майлз-Сити, Монтана. Воздух в тени прохладен – не нагреется еще с час, пока солнце не выйдет из-за деревьев, – и это хорошо, когда работаешь с мотоциклами. Очень важно не регулировать их на солнце или под вечер, когда мозги уже засорены, потому что, даже если делал это сотни раз, нужно быть все время на стреме, чтобы ничего не пропустить.

Не все понимают, насколько это рациональный процесс – уход за мотоциклом. Считается, что это некая «сноровка» или «склонность к машинам». Это правда, но сноровка – почти в чистом виде рассудочный процесс, а большинство неприятностей – от, как называли его в старину радисты, «замыкания между наушниками», неумения включать голову. Мотоцикл функционирует в полном соответствии с законами разума, и исследование искусства ухода за мотоциклом – по сути, исследование искусства рациональности в миниатюре. Вчера я говорил, что Федр гонялся за призраком рациональности и тот довел его до помешательства, но чтобы понять это, нельзя отрываться от земли, от примеров самой рациональности, чтоб не улететь в обобщения, которых больше никто не поймет. Разговор о рациональности может сильно сбивать с толку, если не говорить о том, с чем рациональность имеет дело.

И вот мы стоим у барьера между классическим и романтическим; по одну сторону видим непосредственный мотоцикл снаружи – и это важно, так видеть, – а по другую уже различаем в нем внутреннюю форму, как механик, и это тоже важный способ смотреть. Вот, например, инструменты – гаечный ключ, – у них своя романтическая красота, но цель всегда чисто классическая. Они созданы, чтобы изменять внутреннюю форму.

Фарфор в первой свече сильно потемнел. И классически, и романтически это безобразно, поскольку означает, что в цилиндре слишком много топлива и недостаточно воздуха. Молекулам углерода в бензине не хватает кислорода для связи, и они просто сидят, засоряя свечу. Вчера при въезде в город холостой ход был неравномерным – это симптом.

На всякий случай проверяю второй цилиндр. То же самое. Достая складной нож, беру из канавы какую-то палочку и обстругиваю кончик, чтобы вычистить свечи, пытаюсь разгадать, из-за чего они так засорились. Дело не в шатунах и не в клапанах. И карбюратор редко так барахлит. Главные жиклеры слишком большие, поэтому при больших скоростях засоряются, но раньше свечи с *теми* же самыми жиклерами были намного чище. Загадка. Вечно вокруг загадки. Но если попробуешь решить их все сразу, машину никогда не починишь. Ответа сразу не бывает, поэтому я оставляю вопрос.

Первый толкатель в порядке, регулировки не надо, и я перехожу к следующему. У меня куча времени, пока солнце не выйдет из-за деревьев... Я всякий раз будто в церкви, когда занимаюсь этим... Шуп – икона, и я вершу святой обряд. Он входит в набор, называемый «инструменты для точного измерения», что в классическом смысле имеет очень глубокое значение.

В мотоцикле точность поддерживается не ради романтики или перфекционизма, а просто потому, что огромные силы тепла и взрывного давления в двигателе можно контролировать лишь точностью, которую предоставляют эти инструменты. Каждый взрыв гонит соединительный шатун на коленвал с поверхностным давлением во много тонн на квадратный дюйм. Если шатун соответствует валу точно, взрывная сила распределяется плавно, и металл ее выдерживает. Но если есть зазор хотя бы в несколько тысячных дюйма, сила ударит внезапным молотом, и шатун, подшипник и поверхность коленвала вскоре станут плющиться, создавая шум, который сначала будет похож на стук разболтанных толкателей. Вот почему я это сейчас и проверяю. Если и *впрямь* разболтался шатун и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, вскоре стук станет громче, а потом шатун вырвется, ударит во вращающийся коленвал и уничтожит двигатель. Иногда сломавшиеся шатуны пробивают картер, и все масло выливается на дорогу. После этого остается только идти пешком.

Но все это можно предотвратить подгонкой на несколько тысячных дюйма, с точностью, которую дают измерительные инструменты, и в этом их классическая красота: не то, что видишь, а то, что они означают, на что они способны в смысле контроля внутренней формы.

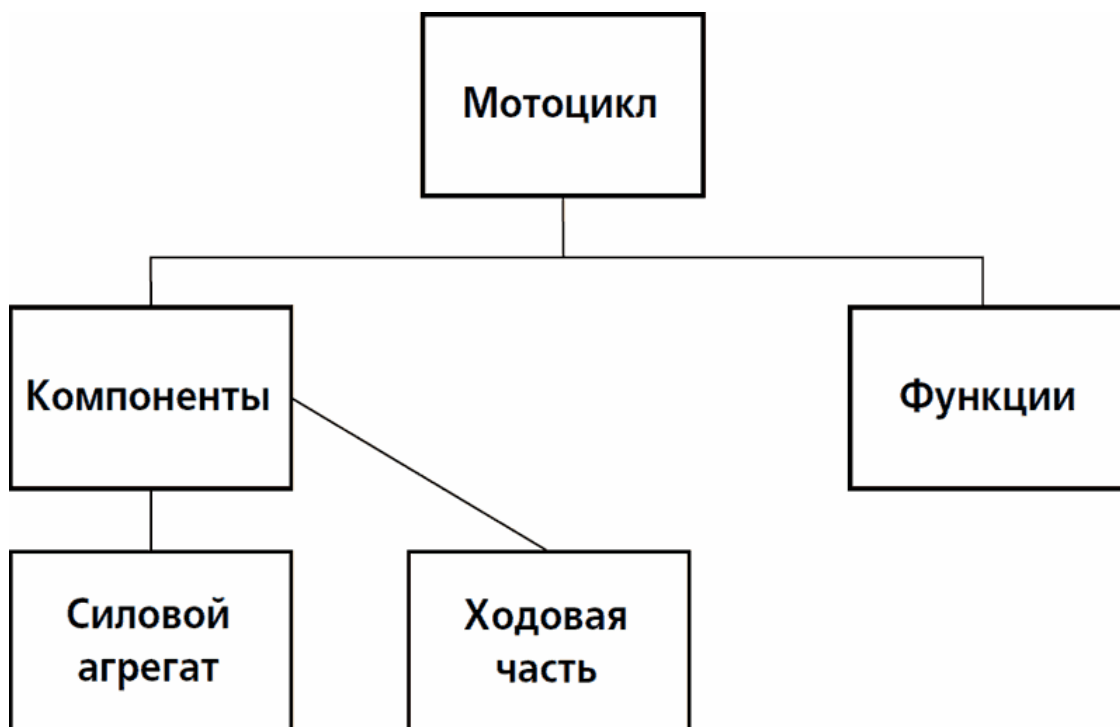
Второй толкатель в порядке. Перебираюсь на ту сторону, что ближе к улице, и принимаюсь за другой цилиндр.

Точные инструменты предназначены для достижения *идеи* – пространственной точности, а ее совершенство невозможно. Не бывает совершенно сделанной детали мотоцикла и никогда не будет, но если приблизишься к совершенству, насколько это позволят точные инструменты, произойдет нечто замечательное – ты полетишь по земле с силой, которую можно считать волшебством, но она абсолютно и всесторонне рациональна. Тут главное – понимать эту рациональную интеллектуальную *идею*. Джон смотрит на мотоцикл и видит разнообразно выгнутую сталь, у него к этим стальным формам неприятие, и он отключается полностью. А я смотрю на эти формы стали и вижу *идеи*. Он думает, что я работаю с *детальями*. Я же работаю с *понятиями*.

Я упоминал об этих концепциях вчера: мотоцикл делится по компонентам и по функциям. Сказав это, я вдруг создал набор квадратов, размещенных так:



А когда я сказал, что далее компоненты подразделяются на силовой агрегат и ходовую часть, квадратиков вдруг стало больше:



Видишь, всякий раз, когда я подразделяю, появляется все больше квадратиков, пока из них не складывается пирамида. В итоге становится понятно, что, деля мотоцикл на все более мелкие части, я строил его структуру.

Эта структура понятий формально называется иерархией, и с древних времен на ней покоилось все западное знание. Королевства, империи, церкви, армии – все структурировано в иерархии. Современный бизнес структурируется так же. Оглавления справочного материала – тоже, механические агрегаты, компьютерные программы, все научное и техническое знание так структурировано; вплоть до того, что в некоторых областях знания, например, в биологии, иерархия «тип – порядок – класс – род – вид» стала почти каноном.

Квадратик «мотоцикл» *содержит* квадратики «компоненты» и «функции». «Компоненты» *содержат* «силовой агрегат» и «ходовую часть» – и так далее. Есть много других структур, произведенных другими операторами, например «служить причиной». Здесь образуется длинная цепь: «А служит причиной Б, которое служит причиной В» – и так далее. Эта структура берется для функционального описания мотоцикла. «Существует», «равняется» и «подразумевает» деятели дают уже другие структуры. Они обычно взаимосвязаны такими сложными и разветвленными узорами и тропами, что никому не под силу за всю жизнь понять их целиком – разве что часть. Общее название для этих взаимодействующих структур, род, в котором иерархия содержания и структура причинности всего лишь виды, – *система*. Мотоцикл – система. *Настоящая* система.

Говорить о правительстве и общественных институтах как о «системе» – это верно, поскольку они основаны на тех же структурных понятийных отношениях, что и мотоцикл. Они поддерживаются структурными взаимоотношениями, даже когда потеряли иное предназначение и смысл. Люди приходят на завод и без вопросов с восьмью до пяти выполняют абсолютно бессмысленное задание, поскольку этого требует структура. Нет никакого негодяя, никакого «мерзкого типа», требующего, чтобы они жили бессмысленной жизнью, – этого желает структура, система, и никому неохота взваливать на себя невыполнимую задачу – изменить структуру лишь потому, что она бессмысленна.

Но снести завод, взбунтоваться против правительства или отказаться чинить мотоцикл потому, что это система, значит нападать на следствия, а не на причины; когда же нападают на одни следствия, никакая перемена невозможна. Подлинная система, настоящая система – нынешнее строение нашей систематической мысли, самой рациональности, и если завод снесен до основания, а рациональность, породившая его, осталась, она просто создаст еще один завод. Если революция уничтожает системное правительство, а системные шаблоны мышления, создавшие правительство, остаются, эти шаблоны воспроизведут себя в последующем правительстве. О системе так много болтают. И так мало понимают ее.

Вот и весь мотоцикл – всего лишь система понятий, сработанных в стали. В нем нет ни единой детали, ни единой формы, не порожденных чьим-то умом... толкатель номер три тоже в порядке. Остался один. Только бы загвоздка была в нем... Я заметил, что люди, никогда не имевшие дела со сталью, не способны увидеть того, что превыше прочего мотоцикл – явление умственное. Для них металл – это данные раз и навсегда формы: трубы, стержни, балки, орудия, детали, закрепленные и незбылемые; для них это в первую очередь явление физическое. Но тот, кто занимается механикой, литьем, ковкой или сваркой, видит, что «сталь» вообще не имеет формы. Она может быть любой формы, какую захочешь, если у тебя достаточно навыков, и любой формы, *кроме* желаемой, если у тебя их нет. Формы – как вот этот толкатель, к примеру, – суть то, к чему *приходишь*, что придаешь стали сам. В стали не больше формы, чем вот в этом комке грязи на двигателе. Все эти формы – из чьего-то ума. Вот что важно увидеть. *Сталь?* Черт, даже сталь – из чьего-то ума. В природе нет стали. Спроси у людей бронзового века. В природе есть лишь *потенциал* стали. И ничего больше. Но что такое «потенциал»? Он ведь тоже сидит у кого-то в уме!.. Призраки.

Вот что имел в виду Федр, утверждая, что все – в уме. Звучит безумно, если просто подсказываешь и ляпаешь такое без всякой конкретики – например, без двигателя. Но если привяжешь высказывание к частному и конкретному, безумие скорее всего уйдет, и поймешь: Федр, пожалуй, говорил что-то важное.

Четвертый толкатель *действительно* слишком разболтан, так я и думал. Регулирую. Проверяю опережение-запаздывание и вижу, что здесь пока все в порядке, контакты еще не изъедены коррозией, поэтому их не трогаю, прикручиваю крышки клапанов, ставлю на место свечи и завожу двигатель.

Стук исчез, но это еще ничего не значит: масло пока холодное. Пусть поработает холостую, а я сложу инструменты; затем сажусь и еду в мотомагазин, который нам вчера вечером показал мотоциклист на улице: может, отыщутся звено регулятора цепи и новая резина для подножки. Крису, должно быть, не сидится – его подножки стираются быстрее.

Проезжаю пару кварталов – стука нет. Неплохо звучит, надеюсь, шума больше не будет. Хотя наверняка можно будет сказать только миль через тридцать. А до тех пор – и прямо сейчас – солнце светит ярко, воздух прохладен, у меня ясная голова, впереди – целый день, мы уже почти в горах, в такой день хорошо жить. Разреженный воздух тому причиной. Всегда так, если забираешься повыше.

Высота! Вот почему двигатель работает так натужно. Конечно же, наверняка из-за этого. Мы уже на высоте 2500 футов. Лучше перейти на стандартные жиклеры, их можно поставить за пару минут. И немного подрегулировать холостой ход. Дальше будет только выше.

Под тенистыми деревьями нахожу «Мотомастерскую Билла» – а самого Билла нет. Прохожий сообщает, что тот, «может, рыбу где-то ловит», а магазин оставил открытым. Мы и *впрямь* на Западе. В Чикаго или Нью-Йорке лавку бы так никто не бросил.

Захожу и вижу, что Билл – механик школы «фотографического ума». Все валяется где ни попадя. Ключи, отвертки, старые детали, старые мотоциклы, новые детали, новые мотоциклы, рекламные брошюры, камеры навалены так густо, что не видно верстаков. Я бы не смог работать в таких условиях, но это потому, что я – не механик фотографического ума. Вероятно, Билл поворачивается и вытаскивает из этой мешанины любой инструмент, не задумываясь. Я видел таких механиков. Спятить легче, наблюдая за ними, но работают не хуже остальных – а иногда и быстрее. Однако стоит сдвинуть хоть один инструмент на три дюйма влево – и такой механик будет искать его несколько дней.

Появляется Билл, чему-то ухмыляется... Конечно, у него есть жиклеры для моей машины, и он точно знает, где они лежат. Хотя придется секундочку обождать. Ему на заднем дворе надо завершить сделку по деталям к «харлею». Я иду с ним в сарай и вижу, что он продает по деталям целый «харлей» – кроме рамы, которая у покупателя уже есть. Все за 125 долларов. Недурная цена.

По пути назад замечаю:

– Чтобы собрать *это*, он кое-что узнает про мотоциклы.

Билл смеется:

– А иначе ничему и не научишься.

У него есть жиклеры и резина для подножки, но нет звена регулятора цепи. Ставит резину и жиклеры, регулирует холостой ход, и я возвращаюсь в отель.

Когда подъезжаю, Сильвия, Джон и Крис только спускаются с вещами. Судя по лицам, у них тоже хорошее настроение. Идем по главной улице, находим ресторан и заказываем стейки.

– Клевый городок, – говорит Джон, – *очень* клевый. Не думал, что такие еще остались. Я утром все облазил. У них тут есть бары для скотоводов, высокие сапоги, пряжки из серебряных долларов, «ливайсы», «стетсоны» и прочее... и все *настоящее*. Не ширпотреб... Утром в баре через квартал отсюда со мной заговорили так, будто я всю жизнь тут живу.

Берем по пиву. Вывеска с подковой на стене подсказывает, что мы на территории пива «Олимпия», поэтому заказываю его.

– Наверняка подумали, что я с ранчо или типа этого, – продолжает Джон. – А один старикан все твердил, как он ничего не оставит этим проклятым мальчишкам, – очень по кайфу было слушать. Ранчо отойдет к девчонкам, потому что проклятые мальчишки спускают все до цента у Сюзи. – Джон захлебывается от смеха. – Жалеет теперь, что вообще их вырастил, ну и так далее. Я думал, такого нет уже лет тридцать, а оно все живет.

Приходит официантка со стейками, и мы кромсаем их ножами. От возни с мотоциклом разыгрался аппетит.

– И вот еще кое-что интересное, – произносит Джон. – В баре говорили о Бозмене, куда мы едем. Губернатор Монтаны составил список из пятидесяти радикальных преподавателей тамошнего колледжа, которых собрался увольнять. А потом погиб в авиакатастрофе⁷.

– Это было давно, – отвечаю я. Стейки *очень* хороши.

– Я и не знал, что в этом штате *столько* радикалов.

– В этом штате *всякие* есть, – говорю я. – Но то была просто правая политика.

Джон тянется к солонке.

– Здесь проезжал журналист из вашингтонской газеты, и вчера вышла его колонка, где он это упомянул, поэтому сегодня столько разговоров. Президент колледжа подтвердил.

– А список напечатали?

– Не знаю. Ты кого-то знал?

– Если там пятьдесят имен, – говорю я, – мое наверняка тоже есть.

Оба смотрят на меня с некоторым удивлением. На самом деле я не знаю об этом почти ничего. То был, конечно, *он*, и потому с изрядной долей фальши я объясняю, что «радикал» в округе Гэллатин, штат Монтана, несколько отличается от радикала в других местах.

– В том колледже, – рассказываю я, – вообще-то запретили жену президента Соединенных Штатов – из-за того, что она «слишком своеобразна».

– Кого?

– Элеанор Рузвельт.

– Боже мой, – смеется Джон, – вот это *дикость*.

Они хотят, чтоб я еще что-нибудь рассказал, но мне трудно. Потом вспоминаю кое-что:

– В такой ситуации *настоящий* радикал прикрыт идеально. Он может делать что угодно, и все ему будет сходиться с рук, поскольку оппозиция уже выставила себя ослами. На их фоне он по-любому будет хорошо смотреться, что бы ни говорил.

На выезде минуем городской парк: я заметил его вчера вечером – и пряди памяти сплелись. Просто видение – смотрю вверх, в кроны деревьев. Однажды он спал на скамейке в этом парке на пути в Бозмен. Вот почему я не узнал вчера этого леса. Он ехал ночью – ехал в бозменский колледж.

⁷ Речь идет о республиканце Доналде Гранте Наттере (1915–1962), 15-м губернаторе штата Монтана. Разбился в метель на самолете.

9

Мы пересекаем Монтану по Йеллоустоунской долине. Среднезападные кукурузные поля сменяют западную полынью и наоборот – все зависит от речного орошения. Иногда поднимаемся на кручи, куда вода не доходит, но обычно стараемся держаться у реки. Проезжаем знак, где написано что-то про Льюиса и Кларка⁸. Кто-то из них поднимался сюда при вылазке, отклонившись от Северо-Западного перехода.

Приятно звучит. Как раз для шатокуа. У нас сейчас тоже что-то вроде Северо-Западного перехода. Снова проезжаем поля и пустыню, а день клонится к вечеру.

Я хочу пойти дальше за призраком, которого преследовал Федр, – за самой рациональностью, за этим скучным, сложным, классическим призраком внутренней формы.

Утром я говорил об иерархиях мысли – о системе. Сейчас хочу поговорить о том, как искать пути через эти иерархии, – о логике.

Пользуются двумя видами логики: индуктивной и дедуктивной. Индуктивные умозаключения начинаются с наблюдений за машиной и ведут к общим выводам. Например, мотоцикл подсакивает на ухабе и двигатель дает сбой зажигания, потом мотоцикл подсакивает на другом ухабе, и двигатель дает сбой, потом опять подсакивает на ухабе, и опять сбой, потом мотоцикл едет по длинному гладкому отрезку пути, и сбоев нет, а потом снова подсакивает на ухабе, и двигатель пропускает зажигание снова. Тут можно логически заключить: причиной сбоев зажигания служат ухабы. Это индукция – рассуждение от конкретного опыта к общей истине.

Дедуктивные умозаключения – наоборот. Начинают с общих знаний и предсказывают частный случай. Например, если из чтения иерархии фактов о машине механик знает, что клаксон мотоцикла питается исключительно электричеством от аккумулятора, он может логически заключить, что, если аккумулятор сел, клаксон работать не будет. Это дедукция.

Проблемы, слишком сложные для здравого смысла, решаются длинными цепочками смешанных индуктивных и дедуктивных умозаключений: они выются туда-обратно между наблюдаемой машиной и мысленной иерархией машины, которая есть в инструкциях. Верная программа этого плетения формализуется в виде научного метода.

Вообще-то в уходе за мотоциклом я никогда не встречал проблемы, которая требовала бы применять полноценный формальный научный метод. Ремонт не очень сложен. При мысли о формальном научном методе на ум иногда приходит образ гигантского джаггернаута, громадного бульдозера – медленного, нудного, неуклюжего, прилежного, но неуязвимого. Ему требуется вдвое, впятеро, может, даже вдесятеро больше времени, чем умениям неформального механика, но с ним знаешь, что в конце все-таки *получишь* результат. Ни одна проблема определения неисправности в уходе за мотоциклом против него не устоит. Натыкаешься на загвоздку, пробуешь все, ломаешь голову и ничего не получается – тогда понимаешь, что на сей раз Природа решила капризничать, и говоришь: «Ладно, Природа, не хочешь по-хорошему – будем по-плохому». И включаешь формальный научный метод.

Для этого заводишь лабораторный журнал. И туда все записываешь – формально, чтобы постоянно знать, где находишься, где был, куда идешь и куда хочешь попасть. В научной работе и электронике это необходимо, поскольку иначе проблемы так запутаются, что в них потеряешься, заплутаешь, забудешь, что знал и чего не знал, и придется все бросить. В уходе за мотоциклом все не так сложно, но когда начинается путаница, неплохо как-то ее придержать –

⁸ Экспедиция солдат армии США Мериуэзера Льюиса (1774–1809) и Уильяма Кларка (1770–1838) первой в 1804–1806 гг. исследовала территорию между Миссисипи и Тихим океаном.

формальность и точность помогают. Иногда простое действие – запись проблем – направляет мозги в нужную сторону, и понимаешь, в чем, собственно, проблема.

Логические утверждения, вносимые в журнал, делятся на шесть категорий: (1) постановка проблемы, (2) гипотезы о причине проблемы, (3) эксперименты для проверки каждой гипотезы, (4) предсказанные результаты экспериментов, (5) наблюдаемые результаты экспериментов и (6) выводы из этих результатов. Ничем не отличается от формальной организации лабораторных тетрадей в колледжах и старших классах, но цель здесь – не артель напрасный труд, а точное руководство мыслями. Оно не принесет успеха, если записи будут неточны.

Подлинная цель научного метода – удостовериться, что Природа не направила тебя по ложному пути, не внушила, будто ты знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Не бывает таких механиков, ученых и вообще технарей, которые бы от этого не страдали, поэтому все инстинктивно оберегаются. Вот главным образом почему так часто научная и механическая информация скучна и опаслива. Допустишь небрежность, вздумаешь романтизировать научную информацию, добавляя там и сям завитушки, – и Природа вскоре выставит тебя круглым дураком. Она и без того так поступает нередко, даже если не даешь ей повода. В делах с Природой нужны крайняя осторожность и строгая логика: один логический промах – и рушится вся научная доктрина. Одно ложное дедуктивное заключение о машине – и зависаешь на неопределенное время.

В Части Первой формального научного метода, при постановке проблемы, главное умение – категорически утверждать не более того, в чем убежден. Гораздо лучше записать: «Решить Проблему: почему не работает мотоцикл?» – что звучит тупо, но является верным, – чем «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?» – хотя ты не *уверен* абсолютно, в *электричестве* ли дело. Нужно вписывать: «Решить Проблему: что случилось с мотоциклом?», а потом уже вносить первый пункт в Часть Два: «Гипотеза Номер Один: Неполадка в системе электропитания». Перечисляешь столько гипотез, сколько приходит в голову, затем разрабатываешь эксперименты, чтобы проверить их и понять, какие истинны, а какие ложны.

Такой осторожный подход к изначальным вопросам не дает свернуть радикально не туда, от чего на работу может уйти много лишних недель, а то и зависнешь вовсе. Именно поэтому научные вопросы с виду часто выглядят тупыми – их задают, чтобы в дальнейшем избежать тупых ошибок.

Часть Три – ту часть формального научного метода, которую называют экспериментированием, – романтики нередко принимают за саму науку, ибо только у нее большая визуальная поверхность. Романтики видят кучу пробирок, хитрое оборудование и людей, которые бегают вокруг и делают открытия. Эксперимент для романтиков не входит в более обширный интеллектуальный процесс, и они часто путают эксперименты с демонстрациями, очень похоже. Тот, кто проводит сенсационный научный показ на франкенштейновском оборудовании стоимостью полсотни тысяч долларов, не совершает ничего научного, если заранее знает результат. Напротив, мотомеханик, жмуший на клаксон проверить, работает ли аккумулятор, неформально проводит подлинный научный эксперимент. Он проверяет гипотезу, ставя Природе вопрос. Ученый из телепостановки, который печально бормочет: «Эксперимент не удался, мы не достигли того, на что надеялись», – в основном страдает от плохого сценариста. Эксперимент никогда не бывает неудачным лишь потому, что не достигает предсказанных результатов. Эксперимент неудачен, только если им не удастся адекватно проверить гипотезу – если его данные ничего не доказывают.

Вот тут все мастерство – в том, чтобы эксперимент проверял лишь гипотезу под вопросом, не меньше и не больше. Если клаксон клаксонит и механик заключает, что вся электрическая система исправна, у механика большие неприятности. Он пришел к нелогичному выводу. Действующий клаксон говорит лишь о том, что работают только клаксон и аккумулятор. Чтобы разработать эксперимент как подобает, механику придется очень строго думать о том, что слу-

жит непосредственной причиной чего. Это нам уже известно из иерархии. Не клаксон приводит мотоцикл в движение. И не аккумулятор, разве что очень опосредованно. Но есть точка, где *непосредственной* причиной зажигания в двигателе служит электрическая система, – свечи зажигания, и если не проверить здесь, на выходе электрическую систему, никогда и не поймешь, электрическая у тебя неисправность или нет.

Чтобы проверить все как подобает, механик вынимает свечу и кладет ее у двигателя так, чтобы корпус свечи заземлился на двигатель, нажимает на рукоятку стартера и смотрит, появится ли в искровом пространстве свечи голубая искра. Если ее нет, он может сделать один из двух выводов: а) неполадка в электросистеме, б) эксперимент небрежен. Если механик опытен, он попробует еще несколько раз, проверит все контакты, пытаясь любым мыслимым способом зажечь свечу. Но если все-таки не удастся, он наконец приходит к тому, что вывод «а» верен: в электросистеме неисправность, эксперимент окончен. Механик доказал, что его гипотеза верна.

В последней категории, в заключениях, главное – утверждать не более того, что доказал эксперимент. Он, к примеру, не доказал, что после ремонта электрической системы мотоцикл заведется. Неполадки могут быть и в другом. Но механик знает, что мотоцикл не поедет, пока не заработает электричество, поэтому ставит следующий формальный вопрос: «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?»

После чего формулирует и проверяет новые гипотезы. Задавая нужные вопросы, выбирая нужные тесты и делая правильные выводы, механик прокладывает себе путь сквозь эшелоны мотоциклетной иерархии, пока не находит точную конкретную причину или причины неполадки двигателя; затем он изменяет их так, чтобы они больше не приводили к неисправности.

Нетренированный наблюдатель видит лишь физический труд, и у него часто создается впечатление, что механик только им и занят. На самом деле физический труд – мельчайшая и легчайшая часть того, что делает механик. Гораздо большая часть его работы – тщательное наблюдение и точное мышление. Поэтому иногда механики так неразговорчивы и так глубоко уходят в себя при испытаниях. Им не нравится, если с ними разговаривают, потому что они сосредоточены на мысленных образах, иерархиях и вообще не смотрят ни на тебя, ни на физический мотоцикл. Для них эксперимент – часть программы расширения их собственной иерархии знания о неисправном мотоцикле и сравнения ее с правильной иерархией у них в уме. Они смотрят на внутреннюю форму.

Навстречу нам едет автомобиль с трейлером – и не успевает вернуться на свою полосу движения. Мигаю фарой, чтоб он нас точно заметил. Он-то заметил, но съехать не может. Обочина узкая и бугристая. Свалимся, если выедем на нее. Жму на тормоза, сигналю, мигаю. Боже всемогущий, он паникует и целит на нашу обочину! Я упорно держусь края дороги. ВОТ он! В последний миг отруливает и проходит в нескольких дюймах от нас.

Впереди по дороге катается картонная коробка, еще издали видно. Свалилась с чьего-то грузовика, очевидно.

Вот теперь нас пробивает. Ехали бы в машине – столкнулись бы лоб в лоб. Или свалились бы в канаву.

Въезжаем в городок – он как посреди какой-нибудь Айовы. Вокруг высокая кукуруза, в воздухе тяжелый дух удобрений. Ставим мотоциклы и заходим в огромное старое заведение с высокими потолками. На сей раз к пиву я заказываю все закуски, что у них только есть, и мы устраиваем запоздалый обед: арахис, попкорн, соленые крендельки, картофельные чипсы, сушеные анчоусы, какая-то копченая рыбка с кучей мелких косточек внутри, «тощие Джимы» и «длинные Джоны», пепперони, «фрито», «пивные орешки», колбасный паштет, шкварки и кунжутные крекеры с наполнителем, чей вкус я не могу определить.

Сильвия произносит:

– Меня до сих пор трясет.

Почему-то решила, что наш мотоцикл превратился в картонную коробку и мотыляется по всей трассе.

10

А в долине, куда выезжаем, небо видно только меж утесов по берегам реки, но теперь они ближе, чем утром, – и друг к другу, и к нам. Долина сужается, чем ближе мы к верховьям.

Помимо прочего, мы доехали до некой отправной точки. Вот здесь и можно наконец повести рассказ об отрыве Федра от основного течения рациональной мысли в погоне за призраком самой рациональности.

Он читал одну вещь – и повторял про себя столько раз, что текст сохранился в целости. Начинается так:

Храм науки – строение многосложное. Различны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы.

Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и Других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ангел пришел в храм и изгнал из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически опустел бы. Все-таки кое-кто из людей как прошлого, так и нашего времени в нем бы остался... Если бы существовали только люди, подобные изгнанным, храм не поднялся бы, как не мог бы вырасти лес из одних лишь выющихся растений... Но обратим вновь свой взгляд на тех, кто удостоился милости ангела. Большинство из них – люди странные, замкнутые, уединенные; несмотря на эти общие черты, они в действительности сильнее разнятся друг от друга, чем изгнанные.

Что привело их в храм? Нелегко на это ответить, и ответ, безусловно, не будет одинаковым для всех... Желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотразимо влекущей горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности.

Отрывок из речи, произнесенной в 1918 году молодым немецким ученым по имени Альберт Эйнштейн⁹.

Федр окончил свой первый курс университетской науки в пятнадцать лет. Его областью уже тогда была биохимия, и он намеревался изучать взаимодействие органического и неорганического миров, известное теперь как молекулярная биология. Он не считал это карьерой, не думал о личном продвижении. Он был очень молод, и это стало для него некой благородной идеалистической целью.

⁹ «Мотивы научного исследования» – речь Эйнштейна на праздновании 60-летнего юбилея Макса Планка в 1918 г. (Motiv des Forschens, в сб. Zu Max Plancks – 60 Geburtstag: Ausprachen in der Deutschen physikalischen Gesellschaft. Karlsruhe, 1918, S. 29–32). Здесь и далее текст воспроизведен по русскому переводу под заглавием «Принципы научного исследования», в сб. А. Эйнштейна, «Физика и реальность». М.: Наука, 1965. Стр. 8–10.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.